

## Николай Осипович Лернер

*Вступительная статья и публикация С. И. Панова*

Последнюю четверть века своей жизни Юлиан Григорьевич Оксман постоянно обращается к мемуарным замыслам, вынашивает различные планы воспоминаний и рассказов о людях и событиях, свидетелем и непосредственным участником которых ему довелось быть. В 1943 г. он пишет из магаданского лагеря жене, А. П. Оксман: «...меня тянет к мемуарам, и нужны только вехи вроде таких опорных личностей, как Юра Маслов, Вася Комар<ович>, Юр<ий> Ник<олаевич> Тынянов», а из учителей Сем<ен> Афан<асьевич> Венгеров, Шляпкин, Серг<ей> Федор<ович> Платонов, А. С. Николаев, Пресняков, Модзалевский, Сакулин, чтобы вокруг разместилось все прочее академическое, университетское, литературное и проч. наших лет, мертвое, живое, отмирающее»<sup>1</sup>. Тогда же на Колыме Оксман делает первые автобиографические и мемуарные наброски. В июле 1961 г. он вспомнил в письме К. И. Чуковскому: «В первый раз задумался о себе и своем прошлом в Омской этапной тюрьме, в одиночке, в которую перевели меня летом 1937 г. из тюремной же больницы. Года через два, в Магадане, условия ненадолго сложились так, что я мог и читать и писать — два месяца писал — 4 страницы о своем детстве, четыре страницы о Лаврентеве, две о Мише Слонимском, три — о встрече с Плехановым в июне 1917 г. на Невском. Всего 13 страниц, из которых 9 сожгла Ант<онина>

---

<sup>1</sup> Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988. С. 105 (публ. М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса). Тем же исследователям принадлежит публикация мемуарного фрагмента Оксмана о Ю. Н. Тынянове (Тынянов в воспоминаниях современника // Тыняновский сб. Первые Тыняновские чтения. Рига, 1985), в сопроводительной статье к которому предложены чрезвычайно ценные обзор и осмысление мемуарных замыслов Оксмана. В связи с этой темой см. также: *Зайцев А. Д.* «Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...» (Набросок портрета Ю. Г. Оксмана по материалам его архива) // *Встречи с прошлым*. М., 1990. Вып. 7; Письма Ю. Г. Оксмана к Л. Л. Домгеру / Предисл., коммент. А. Б. Устинова // *Stanford Slavic Studies*. 1994. Vol. 8. Из самих текстов Оксмана дневниково-мемуарного жанра полнее всего изданы его записи об Анне Ахматовой (см.: *Воспоминания об Анне Ахматовой*. М., 1991). Многообразные замыслы Оксмана в этом направлении и их интенции раскрываются (а в определенной степени и реализуются) в его эпистолярии, активная публикация которого началась с конца 1980-х гг.; библиогр. указания см. в научном аппарате изд.: *Марк Азадовский, Юлиан Оксман. Переписка. 1944–1954* / Изд. подгот. К. М. Азадовский. М., 1998. См. также подборку писем Оксмана разным адресатам в журнале «Русская литература» за 2003–2004 гг.

Петровна в 1950 г., ожидая нового моего ареста в Саратове»<sup>2</sup>.

Позднее, особенно в 1960-е гг., Оксман не раз делает попытки приступить к реализации мемуарного замысла, хотя бы в его локальных фрагментах, о чем сообщает знакомым. В 1966 г. Н. К. Пиксанов, в прошлом один из учителей Оксмана, писал ему в ответ на подобное известие: «Мы очень заинтересованы Вашим сообщением о намерении писать воспоминания: у Вас есть что рассказать, хотя бы в одной литературной области»<sup>3</sup>. Сам Оксман внимательно следит за мемуарными выступлениями литераторов своего поколения, пытается стимулировать и «направлять» их. Показательно его письмо от 23 октября 1959 г. Шкловскому: «Ты пишешь воспоминания. Это очень нужно. Ты в долгу перед своими современниками, о которых писал очень хорошо, но страшно скуп. Я имею в виду и Юрия Тынянова. Загляни в те странички, которые о нем уже написал, и заполни пробелы. Скажи о том, с чем не согласен. Он выдержит, особенно мертвый. Скажи о том, как строилась советская литер<атурная> наука, и не только о своих, но и о чужих, начиная с дяди Семена и Пушкинского кружка. Я хотел бы, чтобы ты сказал в этой связи что-нибудь членораздельное и обо мне. Кто же еще может об этом сказать лучше?»<sup>4</sup> В связи с «тыняновскими» воспоминаниями Шкловского характерна их оценка слушателями и гипотетическое сопоставление с тем, что и как *мог бы* рассказать Оксман. Т. Г. Цявловская сообщала Оксману 1 января 1969 г.: «Мне пишут из Ленинграда: “На днях у нас был в Пушкинской квартире вечер памяти Тынянова. Выступали Шкловский и Каверин с интересными воспоминаниями о... себе. Впрочем, вспомнили и Тынянова...” Вы бы рассказали *о нем!* — А может быть, 21-го у нас в Пушкинском музее Вы выступите? Как бы хорошо!...»<sup>5</sup>.

Кроме «мемориальной», Оксмана влекла и мемуаристика практически «синхронная», представляемая как жанр общественно-политической публицистики, призванной вести «борьбу (пусть безнадежную) за изгнание из науки и литературы хотя бы наиболее гнусных из подручных палачей Ежова, Берии, Заковского, Рюмина и др.»<sup>6</sup>. «Нет, мы не имеем права молчать», — пишет он в 1962 г. М. М. Штерн<sup>7</sup>. Ощущаемая «безнадежность» в тогдашних условиях этой борьбы изначально делала главным адресатом этих свиде-

---

<sup>2</sup> Ю. Г. Оксман—К. И. Чуковский: Переписка. 1949—1969. М., 2001. С. 111. Фрагменты из сохранившихся «четырёх страниц о детстве» см.: Тыняновский сб. Первые Тыняновские чтения. С. 81—83.

<sup>3</sup> РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 755.

<sup>4</sup> Из переписки Юлиана Оксмана и Виктора Шкловского / Публ. А. В. Громова // Звезда. 1990. № 8. С. 134.

<sup>5</sup> РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 984.

<sup>6</sup> Четвертые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. С. 110—111.

<sup>7</sup> Там же. С. 111.

тельств современника *будущего* читателя, для которого они должны были стать *историческими* документами. Известное дерзкое выступление Оксмана 1963 г. — его меморандум «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых» — было лишь манифестом темы, разработать которую он предполагал в серии сюжетных заметок и галерее портретных зарисовок (ср. наброски о «псевдонаучном гангстере» И. Анисимове, «О холопах добровольных» и другие заметки «эпохи позднего реабилитанса»)<sup>8</sup>.

Важное место среди обдумывавшихся тем (поэты и писатели, друзья, государственные деятели и политика в отношении культуры и науки, «палачи» и «предатели» и жертвы сталинизма, собственный жизненный путь и многое другое) занимает история отечественного литературоведения, прежде всего пушкинистики, активным участником и бесценным очевидцем которой был Оксман. К моменту ареста в 1936 г. он фактически возглавлял и координировал организованную научную и издательскую работу по Пушкину, постепенно выдвигаясь и на роль научного лидера пушкинистики<sup>9</sup>. Десять лет лагеря и ссылки оборвали это восхождение. Конечно, в 1950—1960-е гг. авторитет Оксмана в профессиональных кругах был очень высок, а непродолжительное время он имел и возможность много печататься, руководить рядом научных проектов. Но направление развития советского пушкиноведения уже определяли другие люди и другие силы, а само это развитие ушло далеко в сторону от того пути, на котором его строили в 1920—1930-е гг. Оксман и его коллеги. За этим процессом «извращения и деградации» Оксман пристально наблюдает и дает ситуации точные и язвительные оценки. Одна из многих — в письме от 7 декабря 1950 г. Б. В. Томашевскому: «Прочел в последнем выпуске “Известий Академии наук” отчет о второй пушкинской конференции. Видимо, я начинаю очень отставать от последних слов нашего пушкиноведения. То, что передается о тезисах доклада Н. Н. Фатова, напоминает о гоголевском Попришине. Трудно вообразить себе более злую пародию на научную работу о Пушкине! Впрочем, недалеко ушел от него и Фон-Мейлах. Дешевые бредовые идеи о политическом смысле боя Руслана с Рогдаем изобличают школу покойных Ермакова и Войтоловского. Видимо, отчет писал Д. С. Бабкин, не подозревая, как он компрометирует своего хозяина (Н. Ф. Бельчикова, директора ИРЛИ. — С. П.). А Сергиевский, конечно, пропустил этот отчет только для того, чтобы иметь лишний печатный документ о превращении полупочтенного учреждения (Пушкинский Дом. — С. П.) в Канатчикову дачу...»<sup>10</sup>. Оксман постоянно пытается осмыслить свершившееся под давлением

---

<sup>8</sup> См.: Марк Азадовский, Юлиан Оксман. Переписка. 1944—1954. С. 298; НЛО. 1996. № 21. С. 129; РГАЛИ, ф. 2567, оп. 3, № 8, 12 и др.

<sup>9</sup> О формировании в 1935 г. под эгидой Горького редакционно-издательского совета академического Собрания сочинений Пушкина и юбилейного Пушкинского комитета Оксман вспоминает в мемуарном очерке «День в Горках» (РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 183).

<sup>10</sup> РГБ, ф. 645, к. 38, № 21.

«культы личности» перерождение «подлинного» (в его понимании) пушкиноведения в «социалистический импрессионизм», расцветший с конца 1940-х гг. И для него важно сказать об этом *правду* и донести ее до тех, кто от нее отлучен, прежде всего до молодежи, студентов. Таким пафосом проникнуты его «траурные лекции» в Саратовском университете о Цявловском, Азадовском. В 1967/1968 г. в Горьком Оксман прочел спецкурс по истории советского литературоведения, известный, к сожалению, по большей части лишь в конспективных записях, упоминаниях и пересказах<sup>11</sup>. Что-то, совсем небольшое (в основном энциклопедические заметки), ему удалось напечатать<sup>12</sup>.

Сохранившиеся материалы его архива свидетельствуют, что попытки осуществить замысел истории-мемуара на темы пушкиноведения XX в. были вовсе не единичны<sup>13</sup>. Но они останавливались на этапе составления списков имен и разрозненных заметок, записанных в буквальном смысле «на клочках». Статья о Н. О. Лернере, публикуемая в настоящем издании, — едва ли не единственный законченный развернутый очерк в этом ряду. Удивительно, но работал над ней Оксман еще до возвращения из ссылки — в Магадане в 1945—1946 гг.

2 августа 1946 г. он писал С. А. Рейсеру: «Большая к вам просьба, перепишите для меня, если это не очень трудно, предисловие Лернера к “Трудам и дням” (изд. 2-е, 1910 г.). Я написал нечто в роде нескольких глав “Пушкинской историографии”, насколько это возможно было сделать без книг, без первоисточников, даже без энциклопедического словаря, полагаясь только на память. Получилось, конечно, не очень хорошо, но интересно — когда-нибудь в несколько дней можно будет документировать цитатами, библиографией, точными датами и пр. Еще одна просьба из той же оперы: перепишите оглавление “Прозы Пушкина” того же Лернера и предисловие к ней, буде таковое было, и пришлите точную ссылку на первую публикацию Лернера в “Ведомостях Одесского градоначальства” 1899 г. (она упоминается в его же статье “Пушкин в Одессе” в Венгеровском издании Пушкина, т. 2). Кроме вечной благодарности обещаю вам прислать

---

<sup>11</sup> См., в том числе, в статьях Г. В. Краснова: 1) Отцы и дети. (Спустя 100 лет) // Поиски смысла: Сб. статей. Нижний Новгород, 1994. С. 90; 2) Две лекции Ю. Г. Оксмана об ОПОЯзе // Юлиан Григорьевич Оксман в Саратове, 1947—1958. Саратов, 1999. С. 54—57. Заметки и выписки Оксмана по истории «формализма» сгруппированы сейчас в РГАЛИ (ф. 2567, оп. 1, № 135).

<sup>12</sup> См. его заметки о М. П. Алексееве, В. В. Буше, И. С. Зильберштейне, Н. В. Измайлове в «Краткой литературной энциклопедии», некролог Б. П. Козьмину в «Известиях АН СССР» (Отд. языка и лит. 1958. Т. 17, вып. 6).

<sup>13</sup> Кроме воспоминаний о Тынянове известны наброски Оксмана к истории пушкинского семинария Венгерова (см. указ. публ. М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса — Тыняновский сб. Первые Тыняновские чтения. С. 91; коммент. М. О. Чудаковой в кн.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 452).

страницы о Лернере на строгий суд и критику (только вашу и Ник<олая> Ив<ановича Мордовченко>))<sup>14</sup>. Рейсер оперативно откликнулся на просьбу, выслав запрашиваемые выписки<sup>15</sup>. Работу над статьей Оксман продолжал и после освобождения, в Саратове. В конце 1940-х гг. он обращался за библиографической помощью к М. М. Штерн, принимавшей участие в подготовке «Библиографии произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1886—1899», составленной П. Н. Берковым и В. М. Лавровым (М.; Л., 1949)<sup>16</sup>. Десятилетие спустя, уже живя и работая в Москве, Оксман произвел обработку написанного — текст был частично переписан на машинке и отредактирован. Вероятно, он готовился к печати, возможно, в связи с издательскими планами Комиссии по истории филологических наук<sup>17</sup>.

Текст состоит из относительно связной рукописной части очерка научной биографии Лернера, ее незавершенной машинописной перепечатки (с пометой Оксмана: «полный экз-р»), переходящей в черновик продолжения, и рукописи мемуарного раздела, содержащего личные воспоминания и характеристики; к тексту приложены конспективные планы, наброски, библиографические выписки. По стилю и степени откровенности первая (перепечатанная) половина очерка заметно отличается от второй, гораздо более свободной и «острой». Вероятно, Оксман преследовал две разные задачи: составлял текст для официального обнародования и «в дополнение»

---

<sup>14</sup> РГАЛИ, ф. 2835, оп. 1, № 409.

<sup>15</sup> 8 августа 1946 г. Рейсер сообщал Оксману: «...Антонина Петровна передала мне Ваше письмо, и я спешу исполнить Ваши просьбы. Посылаю, в этом же письме, все что просите по Лернеру. Я буду очень рад, если смогу и в дальнейшем помочь Вам, хоть таким образом, в Вашей работе...» (РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 818). 3 октября Оксман благодарил его за присланные «выписки из Лернера» (РГАЛИ, ф. 2835, оп. 1, № 409).

<sup>16</sup> В недатированном письме (начало 1949 г. ?) он благодарил свою родственницу: «Милая Малюся, вы меня просто расстрогали справкой о первых статьях Лернера. Я ведь был уверен, что все это у вас под рукою в работе Вяч<еслава> Мод<естовича Лаврова>, а иначе не стал бы беспокоить такими скучными поручениями. Мне нужно было в моей общей статье о Лернере назвать его первые публикации о Пушкине в одесской печати — без исчерпывающей полноты, так как я знал, что они никакого интереса не имеют и не имели. Но вы произвели целое библиографическое разыскание, из кот<орого> мне пригодится не более трех-четырёх дат» (РГАЛИ, ф. 2835, оп. 1, № 716, л. 3).

<sup>17</sup> В фонде Н. Ф. Бельчикова в РГБ сохранились различные заметки, относящиеся к предполагаемым изданиям комиссии, в том числе сборникам по истории литературоведения. Необходимость наладить издание «Ежегодников» комиссии Оксман, в частности, регулярно обсуждал в переписке с П. Н. Берковым и М. П. Алексеевым. Однако эти планы так и не осуществились. Ср. анонс: «Комиссия <...> готовит к изданию первый том своих трудов «Из истории русской филологии XVIII—XX вв.»» (Известия АН СССР. Отд. языка и лит. 1962. Т. 21, вып. 6. С. 568).

записал часть явно «неофициальную» (многие из рассказанных им деталей, не только эпизод со следователем, по своему содержанию и стилю не могли, конечно, предполагаться к печати). В нашей публикации сначала дается машинописный текст с инкорпорацией прямо относящихся к нему рукописных фрагментов, если в них изложение более развернуто, а продолжает его (с фрагмента «Мастер малой формы, исследователь микролог...») часть, имеющаяся только в рукописи (не всегда ясная композиция фрагментов этой части определена нами по общей логике рассказа).

Следует заметить, что очерк Оксмана представляет собой единственную известную нам попытку дать цельную характеристику Н. О. Лернера — ученого и человека, и попытку блистательную по глубине и точности. Одновременно он дает выходы на тот общий чертеж развития пушкинистики в начале XX в., построением которого Оксман занимался в своих лекциях, письмах, заметках. Таким образом, в очерке о Лернере немало и саморефлексии, желания еще раз проговорить выношенные оценки событий и тенденций. Конечно, наполняя образ своего героя живыми красками и деталями, Оксман в целом все же канонизирует сложившийся уже при жизни Лернера несколько гротескный портрет амбициозного чудака, скандального критика-крохобора и неуживчивого гордеца. Такой образ, имевший под собой все основания, естественным образом шаржировался в литературных кругах, заслоняя многие скрытые от стороннего наблюдателя черты личности и мотивы социального поведения, не говоря уже о внутренних «порывах» и «мире чувств» этого «буки русского пушкинизма». Тем замечательнее, что Оксман немного приоткрывает даже эти уголки. Вообще же очерк в портретной своей части написан с явной внутренней симпатией к личности Лернера, тем более заслуживающей внимания, что «объективно исторически», как это разъясняет сам Оксман, он был всецело его «антигероем».

\* \* \*

Лернер и Оксман были людьми разных поколений, а революционные перемены в обустройстве России XX в. сделали их представителями чуть ли не разных эпох, хотя по происхождению у них было немало общего. Детство и юность Лернера прошли в Одессе; Оксман родился и окончил гимназию в городе Вознесенске Херсонской губернии. Особенности менталитета еврейского интеллигента — выходца с юга России, активно включившегося в культурную жизнь начала XX в. («мы, евреи, то есть русские интеллигенты», как обронил однажды Лернер), были предметом авторефлексии и Оксмана<sup>18</sup>. Характеристика, данная им социально-исторической среде, из которой вышел Лернер, сложилась в результате размышлений и о собственных «корнях».

---

<sup>18</sup> См., например, в его автобиографии: Тыняновский сб. Первые Тыняновские чтения. С. 81; *Зайцев А. Д.* «Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...»... С. 526.

Важное значение, однако, имела при этом разница в возрасте: Лернер был на 18 лет — на целое поколение — старше. На его долю пришлось первые — и гораздо более трудные (и в практическом и в психологическом плане) — шаги на том пути, которым позднее «юго-запад» стремительно ворвался в эпицентр русской культуры. Оксман прошел эту дорогу уже с середины.

Когда Лернер в начале 1906 г. переселяется в Петербург, Оксману лишь исполняется 10 лет. После гимназии в 1912/1913 учебном году он слушает лекции в Германии (Бонн, Гейдельберг), затем поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, где становится активным участником Пушкинского семинария С. А. Венгерова. В студенческие годы (1913—1917) Оксман, безусловно, пристально следит за работами Лернера (в его архиве сохранилась подборка вырезок статей Лернера, в том числе этого периода), в то время одного из наиболее плодотворных пушкинистов. Фигура Лернера известна ему, по-видимому, и по рассказам — хотя бы того же Венгерова, редактирующего «брокгаузовского» Пушкина и постоянно «страдающего» от срывов сроков сдачи материалов Лернером. Резкие рецензии Лернера активно обсуждаются в студенческом кружке молодых пушкинистов.

Так вышло, что первая печатная работа Оксмана была непосредственно связана с Лернером. В автобиографических заметках Оксман вспоминал о своем научном дебюте — публикации «К вопросу о дате стихов Пушкина о старом дожде и догарессе молодой»: «Эта заметка появилась в “Русском библиофиле” 1915 г. № 3. Она связана была с моей большой работой “Пушкин и художественная проза Э. Т. А. Гофмана”, а направлена была против некоторых приемов исследований Н. О. Лернера, опубликовавшего в том же “Русском библиофиле” статью “Стихи Пушкина о Марино Фальери”<sup>19</sup>. В этой очень небольшой статье <Лернера> было около 20 фактических неточностей и ошибок, но при подготовке своей статьи к печати я так искусно замаскировал ее полемическую часть, что Н. В. Соловьев, редактор “Русского библиофила”, ее охотно напечатал (я получил за нее даже гонорар, из расчета 60 р<ублей> лист (первый мой литературный гонорар) — 15 руб<лей>), а сам Н. О. Лернер, оценив мою деликатность [и величественно учтя все мои поправки, разумеется, без указания источника, при перепечатке своей статьи, прислал], выразил желание со мной познакомиться и затем в течение долгого времени относился ко мне [необычно] с некоторой снисходительной благосклонностью, зато Юрий Ник<олаевич> Тынянов долгое время рвал и метал, не прощая мне этой детской дипломатии. Он, как и многие другие, старые и молодые, пушкинисты, очень не любил Н. О. Лернера — не столько за его работы, сколько за претензии на монополию положения суперарбитра в вопросах пушкиноведения, за недоброжелательный глумливый характер его печатных и устных отзывов о новых книгах, — литературное кредо которого, как рецензента

---

<sup>19</sup> 1913. № 2. С. 25—31.

всех новых книг по пушкинистике, сводилось к формуле заплочных дел мастеров: “Берегись, ожгу!”<sup>20</sup>.

В 1920—1923 гг. Оксман работает в Одессе. «В течение этого времени был сперва приват-доцентом университета, затем профессором Института народного образования и Археологического института, ректором последнего и начальником областного архивного управления» (из автобиографии)<sup>21</sup>. Здесь он наверняка сталкивается с людьми, знавшими Лернера и его отца<sup>22</sup>. «В сентябре 1923 г., — рассказывал Оксман в автобиографии, — я возвратился в Ленинград, будучи избранным (по представлению академика С. Ф. Платонова и профессоров А. Е. Преснякова и А. С. Николаева) профессором Ленинградского университета. Научно-исследовательскую и преподавательскую работу совмещал с административной, являясь начальником архива министерства внутренних дел, членом Пушкинской комиссии Академии наук СССР, председателем Пушкинского комитета Института истории искусств, ученым секретарем Института русской литературы. В 1933 г. по предложению С. М. Кирова (на самом деле Л. Б. Каменева. — С. П.) и А. М. Горького и Президиума Академии наук СССР провожу реорганизацию Пушкинского Дома, <...> возглавляю подготовку Пушкинского юбилея 1937 г.»<sup>23</sup> и проч. На это десятилетие и приходится регулярное личное общение Оксмана с Лернером, впечатления от которого он ярко обобщил в своем очерке.

Кроме отмеченного Оксманом в воспоминаниях относительного «благоволения» Лернера к «молодежи», у них была и специальная почва для установления отношений — тема Одессы. В 1908 г. Лернер писал М. О. Гершензону: «Вы ездили в Одессу. Не земляки ли мы с Вами? У меня к своим, не только единоплеменникам, но и землякам, совершенно фамусовское влечение»<sup>24</sup>. При всем противоречивом отношении к родному городу<sup>25</sup>, эту привязанность Лернер сохранял всю жизнь.

<sup>20</sup> РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 179, л. 66.

<sup>21</sup> Цит. по: *Зайцев А. Д.* «Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...»... С. 534.

<sup>22</sup> Отец Лернера, Иосиф (Осип) Иегуда (1849—1907), еврейский театральный деятель, автор ряда работ по истории южного края и по «еврейскому вопросу», имел репутацию человека, связанного с жандармским ведомством (см. об этом и в очерке Оксмана), и Лернер-младший всячески избегал любых намеков на эту тему. Отец и сын (мать проживала отдельно в Москве) жили в Одессе на Полицейской улице, и парижанин А. Ф. Онегин (Отто), познакомившийся с Лернером по переписке, был в 1903 г. искренне удивлен почти что «истерической» реакцией своего молодого корреспондента на его шутку, что само название улицы определяет его незаурядную научную «пытливость» (см.: РНБ, ф. 430, № 196).

<sup>23</sup> Цит. по: *Зайцев А. Д.* «Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...»... С. 534.

<sup>24</sup> РГБ, ф. 746, к. 36, № 27.

<sup>25</sup> Ср., например, в письмах к тому же Гершензону: «В Одессу меня тянет еще и “память сердца”. Я люблю этот город, хоть и изнасилованный полицейщиной



Оксман принадлежал к тому поколению пушкинистов, которое выросло во многом на «преодолении» Лернера. Этим пафосом и исполнен его очерк. «Преодоление» имело две стороны — собственно научную и социальную.

В 1910-е гг. статус Лернера в пушкиноведении был необычайно высок. Имея в виду и его продуктивность, и фактическую насыщенность его работ, М. А. Цявловский писал Лернеру в 1914 г.: «На первом месте из писавших о Пушкине (в последнее десятилетие. — С. П.) стоите, конечно, Вы»<sup>26</sup>. Уже в 1909 г. склонен был «преклонить колени» перед эрудицией Лернера даже П. И. Бартенев: «Верьте, что мне радостно Ваше передо мной преимущество в изучении биографии Пушкина»<sup>27</sup>. Бойкие рецензии и живо написанные историко-литературные этюды Лернера были желанным материалом не только для газет, еженедельников, «тонких» журналов и относительно массового «Исторического вестника»; его стремятся включить в список постоянных сотрудников и элитарные «Весы», и корпоративно статусный «Голос минувшего».

Постсимволистским поколением литераторов Лернер воспринимался как знаковая фигура эпохи, олицетворяя собой самый феномен «пушкинизма». Именно он выступает в таком качестве в текстах Г. Иванова, Б. Садовского, воссоздающих атмосферу петербургской культуры 1910-х гг. Показательно, что чаще всего «прототипом» «пушкиниста-крохобора» для журнальных карикатуристов и юмористов того времени служил тоже Лернер.

А грубая язвительность рецензий, которыми он откликался почти на все новинки пушкинианы, действительно могла «раз и навсегда отбить охоту заниматься Пушкиным», особенно у начинающего автора. Лучше всего об этом комплексе сказал сам Оксман, выступая в 1935 г. на совещании пушкинистов в Союзе писателей: «Я сам вырос под страхом того, что если я что-нибудь напечатаю, то сейчас же выступит Н. О. Лернер и скажет:

— А вот в кишиневских “Епархиальных ведомостях” за такой-то год в таком-то номере это уже было напечатано»<sup>28</sup>. Из этого понятно, какие

---

и истинно-русифицированный. Не таков он теперь, как был, но походить по старым улицам, без домов современного стиля, с еще уцелевшими хлебными амбарами, будет наслаждением». «Провинциальная пошлость, еврейская приниженность, истинно-русская разнузданность, вечно висящее в воздухе слово “жид” — вот теперешняя Одесса. Газеты неслышанно обнагтели, умственной жизни нчкакой. Право, возрадуемся, что живем не в Одессе» (РГБ, ф. 746, к. 36, ед. хр. 27).

<sup>26</sup> Цявловский М., Цявловская Т. Вокруг Пушкина. М., 2000. С. 210 (далее: Цявловские).

<sup>27</sup> РГАЛИ, ф. 300, оп. 1, № 75.

<sup>28</sup> РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 24. Показательна и поданная Оксману на этом совещании реплика «с места»: «Лернер умер, и теперь вам не страшно».

чувства и воспоминания владели им, когда он писал в публикуемом очерке о «глумливых, брызжущих ядом и желчью разборах» Лернера.

Кроме естественного отторжения, которое вызывал у поколения Оксман Лернер как «цербер» (или, по его выражению, «Соловей-разбойник»), он явно был антипатичен научной молодежи своим обликом «удачливого дельца — вивера, гурмана и остряка», каким описывает его Оксман. Правда, Оксман при этом как бы не считает нужным уточнить (или на самом деле он об этом не догадывался?), что это — чисто внешний облик, отчасти гордая социальная маска Лернера, то *желаемое*, что очень сильно отличается от реального. Особым «дельцом» Лернер никогда не был, и его литературный хлеб и в самые «благополучные» годы был скорее скуден, как и у большинства его коллег по цеху<sup>29</sup>, и доставался кропотливым ежедневным трудом. Но как бы то ни было, Лернер и Оксман в 1910-е гг. стояли на разных полюсах пушкинизма.

\* \* \*

Их научные позиции и научная идеология не совпадали и объективно.

Лернер по выпавшему ему месту в пушкиноведении и по типу характера и личности был консерватором. И он смог хорошо (хотя и не полно) реализовать в науке это амплуа. К началу XX в. корпус текстов Пушкина был в основном обнародован, был введен в оборот огромный массив биографических и историко-литературных материалов. Трудями биографов (Анненков, Бартенева), публикаторской деятельностью демократами «библиографов» — от Афанасьева и Лонгинова до Якушкина и Ефремова, разысканиями «школы Майкова и Саитова» колосс «пушкинизма» был в целом построен. Лернер видел свою роль в шлифовке деталей, обустройстве «интерьера», наведении порядка. Здесь — в деле систематизации и уточнения «деталей» — фронт работ был необычайно широк. С молодости целенаправленно по крупицам собирая упоминания о Пушкине и его произведениях (сейчас нелегко себе представить, как это удавалось стесненному в средствах провинциалу в постоянных разъездах между Одессой, Тифлисом и Кишиневом), он педантично заполнял мельчайшие ячейки сложившейся пушкинской матрицы. Логическим итогом работы в этом направлении было составление свода всех этих данных, выстроенных по канве биографии Пушкина. К этой задаче Лернер подошел практически с первых шагов в пушкиноведении: уже в 1900 г. предложил и выслал для «Русского архива»

---

<sup>29</sup> См. замечание Оксмана о неумении Лернера жить, «как люди живут», в заметке, приводимой в примеч. 14 к тексту очерка. Тема постоянно грозящего безденежья — лейтмотив писем Лернера, и когда они обсуждают с Гершензоном, нравственно ли по отношению к семье покупать новые штаны, если можно еще носить залатанные, то это самая непосредственная «правда жизни». Только при этом Гершензон в общении был бесконечно добр и открыт, а с детства внутренне зажатый Лернер («у меня было собачье детство») обращал к окружающим свою колючую гордость.

начало своей «систематической канвы» — будущих «Трудов и дней Пушкина» (история их первого издания раскрывается в его переписке с Бартевым и Брюсовым). Одновременно он с энтузиазмом обсуждает с Брюсовым подготовку книги «несобранного» Пушкина, задача которой — сведение вместе «осколков» и «крох» пушкинского текста, не закрепленных еще в корпусе его Сочинений. Во многом идею этого несуществующего проекта Лернер позднее реализовал в шестом томе венгерского собрания, о чем подробно пишет Оксман.

Параллельно в многочисленных статьях и заметках Лернер наводит «уют» в пушкинской постройке, занимается овеществлением и мебелировкой ее различных этажей. Здесь эскизы к портретам родственников, друзей, возлюбленных, знакомых, недругов и критиков, знакомых пушкинских друзей и т. д.; здесь описания деталей бытового фона: вещи, гастрономия и т. д. — темы, ставшие затем комическими ярлыками пушкинистики Лернера и в таком качестве упоминаемые Оксманом (энергия Лернера по реконструкции прошлого дворянского быта широко развернется, когда он станет одним из руководителей журнала «Столица и усадьба»). Такой подход логически предполагал пафос консервации самого строения и музеефикации уже «отделанных» его частей. Характерно свидетельство М. А. Цявловского, приведенное им в выступлении на той же дискуссии 1935 г., где Лернера вспомнил и Оксман: «Мне передавали, что покойный Лернер, обращая внимание на то, что моя хронология (текстов Пушкина. — С. П.) из издания в издание меняется, сказал: когда же, наконец, он успокоится. Странно было слышать такое заявление со стороны специалиста. Ему не нравилось, что я каждый раз произвожу передатировку, но вы сами понимаете, что это делается не из любви к искусству, а из ученой добросовестности». Лернер же воспринимал пересмотр освященных традицией фактов и реалий как вторжение хаоса.

Такому отношению не противоречила тенденция планомерного пополнения «экспозиции» все новыми «экспонатами», «новыми приобретениями», места которым были предуготованы и предопределены. Себе Лернер отводил роль главного хранителя пушкинского хозяйства. Особо смущали его попытки вторжения на обустроенную территорию с новыми принципами и приемами «комплектования», нарушающими заведенные пропорции и масштабы. Этим, в частности, объясняется столь удививший и огорчивший в 1914 г. Цявловского крайне резкий отклик Лернера на книгу «Пушкин в печати»<sup>30</sup>. Кроме досады на новоявленных «знатоков», Лернером, надо полагать, двигало беспокойство в связи с тем, что книга предлагала не просто ряд новых дат к пушкинской хронологии, а «принципиально новый уровень точности», который не был еще санкционирован и предусмотрен. В этом Лернер почувствовал (вполне справедливо) покушение на устоявшийся и обжитой порядок.

---

<sup>30</sup> См.: Цявловские. С. 36, 210.

Именно с подобными «охранительными» установками связана позиция Лернера-рецензента: он педантично исполнял функции строгой экспертной комиссии по приему экспонатов, просвечивая, пробуя их «на зуб», убеждаясь в подлинности и ограждая «экспозицию» от всего нестандартного, диссонирующего. Здесь, преодолевая мучительные соблазны, Лернер мог быть строг и к самому себе. Показателен рассказ Оксмана о «ноздревской бравате» Лернера по поводу якобы имеющегося у него пушкинского письма Николаю I о «Гавриилиаде»: «Но печатать его не спешу. Может быть, и уничтожу. Не к чему обнажать “рану совести” Пушкина перед нашим одичавшим читателем». Сюжет этот интересен и не так прост, как изобразил Оксман, квалифицировав его как «мечтательную ложь», но в любом случае значимо уклонение Лернера от «дисгармоничной» темы.

Можно, конечно, говорить о том, что Лернер принимал сложившийся к началу века пушкинский корпус, потому что сам не был способен (или не был допущен) к работе по его критической верификации, но как бы то ни было, Лернер его в целом принимал.

Иной подход к наследию пушкинистики XIX в. выработал ровесник Лернера П. Е. Щеголев, выдвинувший как принципиальную установку тезис о том, что «старые академики» «работали довольно говенно» и понастоящему следует не «улучшать», а начинать заново<sup>31</sup>. Под этим же углом зрения он оценивал и лернеровские «Труды и дни»<sup>32</sup>. Когда современники именно на Лернера и Щеголева смотрели как на потенциальных авторов обобщающей биографии Пушкина, ожидая и требуя ее то от того, то от другого, они (не всегда отдавая себе в этом отчет) считали как бы взаимозаменяемыми две абсолютно разные книги, сходные лишь в том, что ни одна так и не была написана. Не вполне ясная история с несостоявшейся дуэлью Щеголева и Лернера символична — стреляться должны были пушкиноведческие антиподы.

Бурный критицизм Щеголева представлял в предреволюционные годы голос авангардного меньшинства, общее же положение в пушкинистике

---

<sup>31</sup> РГАЛИ, ф. 2558, оп. 2, № 250; ср.: Цявловские. С. 234.

<sup>32</sup> Ср. его отзыв на 2-е изд. в письме от 12 сентября 1910 г. Гершензону, где Щеголев исходит не из принципа каталогизации известных фактов, а требует фронтального пересмотра всего материала. Его оценка очевидным образом совпадает с той, что будет высказана в очерке Оксмана: «Эта книга — продукт крайне недобросовестного отношения к литературной работе. Сотни пропусков из изданий, которые, казалось бы, он должен был перебрать систематически (РА, РС, “Жизнь и труды Погодина” и тому подобные), десятки неточностей, < I нрзб > и наивный критицизм или, вернее, отсутствие всякого критицизма. То, что в такой книге важнее всего, — хронология произведений П < ушкина >, никуда не годится: в ней верно только то, что твердо на основании точных дат самого Пушкина было известно и раньше. И что удивительнее всего, что сам Лернер знает недоброкачественность своей книги: об этом он сам писал мне. < ... > Как любительский труд, его книгу я приветствую, но мне с ней нечего делать как с трудом научным» (РГБ, ф. 746, к. 44, № 28).

определялось скорее «консервативными эволюционистами» Б. Л. Модзалевским и Лернером, очень непохожими, находившимися в «малоуважительной» ссоре, но все же стоявшими на близких позициях по отношению к «задачам дня». Молодую генерацию, поколение Оксмана, такие позиции решительно не устраивали.

Общее настроение сформулировал в книге 1925 г. Б. В. Томашевский: «“Пушкинизм” без воздействия извне грозит заболотиться, если, впрочем, более молодая группа научных работников не взорвет его изнутри. Правда — подобный взрыв может сопровождаться незаслуженно непочтительной ломкой традиций, — но в конечном счете только таким путем можно дойти до синтеза»<sup>33</sup>. Томашевский двигался со стороны «формализма», Оксман — продолжая, скорее, путь Щеголева (у которого в 1920-е гг. он работал научным помощником), но в самом порыве *движения* они были едины. Революционеры ломали консервативный «пушкинизм».

\* \* \*

Свое отношение к наследию «пушкинизма» Оксман ярко сформулировал в выступлении на обсуждении во многом «установочного» доклада В. А. Десницкого «Пушкин и мы» на заседании Пушкинской комиссии ИРЛИ 27 декабря 1935 г.<sup>34</sup>:

«Относительно начальной части доклада: вы преувеличиваете значение наследства буржуазного пушкиноведения. Я много работал в области историографии и источниковедения, думаю над этим и сейчас, но пришел к заключению, что глубочайшим заблуждением является мнение, что нам осталось большое наследство, которое мы продолжаем якобы только углублять и систематизировать. Нет, это легенда — наследства никакого нет»<sup>35</sup>. В части текстологической мы провели полную ревизию пушкинских рукописей, заверенных исследованиями от Анненкова до Венгерова, и убедились, что ни одному тексту (особенно черновику) верить нельзя. Это сплошные искажения, демонстрация полной неспособности тех, кто брался за публикации рукописей, это самое примитивное кустарничество в области текстологии. И пока мы от этого “наследства” не отказывались, мы и путались в этом материале, не пробивались сквозь дымовую завесу, оторвавшую нас от Пушкина и его произведений, затемненных бесконечными ошибками старых текстологов. В изучении биографии Пушкина мы получили огромный биографический материал, материал первоисточников, опять-таки запутанный биографами Пушкина, кроме Щеголева, единствен-

---

<sup>33</sup> Томашевский Б. В. Пушкин. Работы разных лет. М., 1990. С. 54. Ср. на с. 53 оценку «Трудов и дней».

<sup>34</sup> Необходимо, впрочем, делать поправку на «официальную прагматику» этого выступления, диктовавшую особую резкость риторики, что нашло развитие в авторской правке, внесенной Оксманом в свой экземпляр (РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 26); отдельные места его рукописных вставок выделяем курсивом.

<sup>35</sup> Исправлено на: «сколько-нибудь значительного нет».

ные исследовательские работы которого учитываем, как труды, в которых ошибочных домыслов меньше, чем правильных установ<ленных ?> положений.

Нет работ в области идеологии Пушкина. Это абстрактно-казенные академические речи “на случай” или тенденциозное пустословие.

Десницкий. Вы до какого года берете этот период?

Оксман. До последних лет, во всяком случае, ни в эпоху военного коммунизма, ни в первые годы великих пятилеток ничего в этой области не менялось<sup>36</sup>.

Я хочу сказать, что никакого “наследства” мы не получили. <...>

Советское пушкиноведение. Что такое советское пушкиноведение? — Советское пушкиноведение насчитывает 6—7 лет, потому что до того была работа отдельных исследователей, отдельных специалистов, которые вокруг своих тем специально имели некоторые пушкинские темы, но разрабатывали старым методом, со старыми установками, со старой оглядкой. Никакого советского пушкиноведения эти работы не создали.

Работы отдельных исследователей, хотя бы и ценные работы, которые вошли в такой железный инвентарь, но это были персональные работы отдельных исследователей, *старавшихся отделить себя от Лернера и его эпигонов*, — работы Томашевского, Жирмунского, Гофмана и др., которые никакого советского пушкиноведения не создали и не могли создать.

Советское пушкиноведение началось с 28—<2>9<-го> года, когда было приступлено к созданию кодекса Пушкина, нового академического издания Пушкина, репетицией к которому явился этот шеститомник, когда создался коллектив пушкинистов, работающих на первоисточниках, *изучающих их с позиций марксизма-ленинизма*.

На этой большой стройке, куда вошли и старые специалисты, специалисты, работавшие на других участках русского литературоведения, не пушкинисты, куда вошли литературоведы, историографы, текстологи, — на этой стройке создался коллектив, который можно назвать советским пушкиноведением.

Это прямого отношения к вашему докладу не имеет. Это просто справка, которую считал нужным дать...»

При значительной справедливости сказанного Оксманом на основе опыта подготовки нового академического издания и уточнения пушкинской фактологии, в своем пафосе он, в сущности, солидарен с высказыванием Шкловского, *обращенным* в те же дни на дискуссии в Москве к нему самому и его коллегам по цеху «советской пушкинистики», позиции и «прикладные задачи» которых Шкловский «высоко апробировал» как достижение именно *нового общества*:

«Я не согласен с тем, что вот и буржуазные ученые могли прочесть тексты. Не сделали же они этого, не прочли. Что им — денег недодали или времени у них не было? Время было.

<sup>36</sup> В стенограмме было: «До 17-го года, во всяком случае, и после, в эпоху военного коммунизма, эпоху советскую, очень немного можно назвать работ».

Советские пушкинисты понимают Пушкина, потому что по чистому листу прочесть, понять эти хвостики — это можно только тогда, когда вы понимаете внутренний ход пушкинской мысли. И это было подарено нашим временем нам. Наше время подарило нам понимание Пушкина. <...>

Когда мы стали думать новым методом, когда благодаря ему мы получили новую глубину мира <...>.

И мы не могли прочесть Пушкина, потому что старые пушкинисты не были политически полноценными людьми. Мы не могли понять пушкинской полноценности, потому что мы были ущербленными, мы были куском»<sup>37</sup>.

Политически не только «неполноценным», но и прямо враждебным новому обществу и новой культуре Лернер был абсолютно официально объявлен еще при жизни. Самоутешительные надежды, которые он излагал в 1928 г. в письме Л. П. Гроссману («Не мы должны предлагать свои услуги, а нас должны приглашать. Нас немного. Когда еще рабфаки, комсомолы и т<ому> под<обные> пролеткульты да пионеры приобретут подготовку и трудовые навыки, накопившиеся у любого из нас? Я, грешный человек, думаю, что никогда. Нас надо бы использовать, пока мы живы»<sup>38</sup>), — оказались чистой иллюзией: у него не собирались «учиться», более того, не думали и мириться с самим его существованием.

Если краткая справка в «Литературной энциклопедии»<sup>39</sup> просто резюмировала: «В современном буржуазном литературоведении Л<ернер> принадлежит таким образом к сторонникам “ползучего эмпиризма”», то первый же номер высокостатусного историко-культурного издания «Литературное наследство», вышедший в 1931 г. под грифом РАПП и Комакадемии, в программной редакционной статье избрал именно насквозь «буржуазного» Лернера объектом показательной политической критики, рассчитанной на полное уничтожение, при этом связав его (формально не очень обоснованно) с врагами советского строя — «заговорщиками», чья «монархическая организация» в Пушкинском Доме только что была раскрыта и уничтожена («дело Платонова»).

---

<sup>37</sup> РГАЛИ, ф. 631, оп. 18, № 18. Ср. у него же призыв к пушкинистам-«текстологам» «выйти с книгой»: «Мы обязаны взять нашу теорию, историю литературы и вытащить из примечаний, поставить ее на ее боевое место» — и в этой связи: «Если бы предложили сравнить Оксмана с каким-нибудь растением, то я бы сравнил его с кактусом — довольно большое, зеленое, но нет листьев. (Смех.) — Мы, товарищи, говорим об историках литературы, у которых нет книги. — Здесь сидит Томашевский, и у Томашевского о Пушкине нет книги. Все дело в том, что у них нет книги о Пушкине — люди отучились писать книги о литературе». «Кактусы» действительно были малопродуктивны в жанре монографий, но отчасти и потому, что в эти годы требуемое их содержание было известно заранее. В поколении их студентов и аспирантов взросло много более тенистых растений.

<sup>38</sup> РГАЛИ, ф. 1386, оп. 2, № 312.

<sup>39</sup> М., 1932. Т. 6. Стб. 302.

Редакция призвала продолжить решительную борьбу и поставить «во всю ширь вопрос о классовом враге на участке истории литературы и публикации документов и материалов». И здесь-то «врагом номер один» довольно неожиданно оказался Лернер:

«До чего доходит наглость классового врага, орудующего под маской историко-литературных публикаций, можно судить по небезызвестному пушкинисту Н. Лернеру, который, печатая “новооткрытые”<sup>40</sup> строфы пушкинской «Юдифи», сопровождал ее следующими строками: “Подвиг еврейской национальной героини был для Пушкина не только благодарной художественной темой, над которой пробовали свои силы многие мастера пера и кисти. Юдифь была ему гораздо ближе. Недаром сам он создал образ русской женщины (Полины в «Рославле»), которая в 1812 г. задумала «явиться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук». В наше беспримерно печальное безвременье, когда враги топчут нашу несчастную родину, когда подавлено патриотическое чувство и забыт бог, — знаменательно звучит этот донесшийся до нас сквозь ряд неблагоприятных случайностей загробный голос великого поэта-патриота, который воспел великую народную героиню, — звучит и упреком и ободрением. Вновь от низин, где мы барахтаемся, поднимает наши взоры excelsior к своей вышине, поэзия Пушкина, бесоснежная Ветулия нашего искусства, «божий дом» русского слова и духа”.

Классовый враг, прикрываясь Пушкиным, открыто взывал здесь к Розе Каплан, к террористическим актам. И это сошло ему с рук. Ныне этот контрреволюционер, меняя формы борьбы и маскируясь, окопался в харьковском “Литературном Архиве”. Если в годы гражданской войны Лернер позволял себе, прикрываясь публикацией материалов, прямые террористические призывы, то теперь он нарочито подобранным документом и тенденциозными комментариями хочет опорочить саму идею революции» и т. д.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> На самом же деле сфабрикованные С. Бобровым и подsunутые им Лернеру, чтобы доказать полнейшее незнание Лернером Пушкина. — *Примеч. источника.*

<sup>41</sup> ЛН. М., 1931. Т. 1. С. 4. Оксман в своем очерке называет автором этой статьи И. В. Сергиевского, но это не точно: она, по крайней мере в значительной своей части, принадлежит зав. редакцией И. С. Зильберштейну, который без всяких оговорок включил ее в автобиблиографию, датированную 27 сентября 1961 г. (см. экземпляр в архиве Оксмана — РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 1209, с. 2). И в этой связи такое большое внимание к фигуре Лернера понятно: именно Зильберштейн имел личные основания выделить его как главного «классового врага», памятуя о недавнем отклике Лернера на свою брошюру (см. примеч. 9 к очерку Оксмана). В новых общественных условиях за свой рецензионный «задор» Лернер мог поплатиться уже не бойкотом со стороны коллег: изменились времена, изменились коллеги.

Оксмана, возможно ввело в заблуждение то, что та же история с «Юдифью» вспоминалась И. В. Сергиевским в самом «кровожадном» пассаже его установочной статьи «О некоторых вопросах изучения Пушкина» в пушкинском



Лернера спасло одно: в 1931 г. слова выливались в «дела» не прямо в тот же день. Как сказал Оксману в 1936 г. в казематах на Шпалерной капитан Федотов: «И умер ваш Лернер *вовремя*. Сейчас бы отсюда он уже не ушел». «Я не стал с капитаном спорить», — замечает Оксман; и может быть, спустя годы он уже не стал бы оспаривать не только фатальность прогноза, но и предложенное следователем определение «ваш Лернер»<sup>42</sup>.

Текст очерка Ю. Г. Оксмана хранится в личном фонде ученого: РГАЛИ, ф. 2567, оп. 1, № 82. Авторские примечания печатаются под звездочками постранично; примечания публикатора имеют сквозную цифровую нумерацию и помещены после текста.

---

томе «Литературного наследства» 1934 г. Призывая к решительной борьбе с «меньшевистской» «идеалистической историко-литературной наукой», он выделял главный объект этой борьбы: «В частности, относится это к пушкиноведению, всегда являвшемуся цитаделью научной реакции, совсем еще недавно служившему трибуной для более или менее откровенной контрреволюционной пропаганды и по сие время во многом остающемуся своеобразной тихой заводью, в которой успешно прячутся от тревог и треволнений современности те, кому это нужно». И прямо отсылал к редакционной передовице первого номера 1931 г., где был приведен «исключительно яркий факт»: «Речь идет о пушкинисте Лернере, писавшем по поводу одного якобы нового открытого, в действительности же представляющего собою плод фальсификации пушкинского текста» и т. д. (ЛН. М., 1934. Т. 16/18. С. 113, 133).

Интересно, что в 1930-е гг. Оксман был склонен считать новых литературных «партийных погромщиков» своеобразными преемниками Лернера-рецензента. 27 июля 1936 г. он писал Г. О. Винокуру по поводу откликов в печати на первый выпуск «Временника Пушкинской комиссии»: «Только что прочел Сергиевского (рец. в «Литературной газете» от 25 июля. — С. П.): Пронесло! — Эта застава одна из самых опасных, вроде лернеровского разбойничьего шатра!» (РГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, № 320). Через три с половиной месяца Оксман был репрессирован; в дальнейшем, надо полагать, он отчетливо осознал разницу этих двух критических застав.

<sup>42</sup> Как и Лернер, в начале 1930-х гг. Оксман подвергался кратковременным арестам — в 1930 и в январе 1931 г. О заступничестве за него Щеголева вспоминала А. П. Оксман (см.: Четвертые Тынъяновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. С. 98—99).

## Николай Осипович Лернер

Место, занятое Н. О. Лернером в истории изучения жизни и творчества Пушкина, определилось не столько яркостью и значимостью его писаний, сколько самими условиями его неожиданного выдвижения на том участке научно-литературного фронта, для ведущих ролей на котором у него, может быть, никогда и не было достаточных оснований.

В своеобразии этих условий следует искать разгадку и того бесспорного влияния, которое оказывал в течение трех десятилетий на пушкинскую историографию этот случайный в русской науке человек, случайный и в прямом смысле этого слова, и в том, в каком употреблялось оно в XVIII веке, применяясь к баловням судьбы, неожиданно вышедшим из самых низов на вершины государственного аппарата.

В самом деле, Н. О. Лернер вошел в пушкиноведение не как цеховой исследователь литературы или источниковед-историк, вошел без филологической школы, без текстологического опыта, без большого библиографического багажа, вошел не из академической или столичной литературной среды, а откуда-то со стороны, из провинциальной читательской массы, которую всколыхнул юбилей 1899 года, первый большой и подлинно народный, т. е. захвативший все классы и возрасты, пушкинский юбилей. Именно этот новый читательский актив, неудовлетворенный литературными итогами юбилея, бесконечно уставший от штампованного академического краснобайства, от фальши общих мест журнальных, газетных и брошюрных писаний о Пушкине, жаждущий конкретных, точных и заново осмысленных данных о поэте, и выдвинул из своей толщи талантливую начетчика, пушкиниста-самоучку, сделавшего и для изучения Пушкина и для популяризации и пропаганды пушкиноведения много больше, чем успели сделать до него все университетские кафедры русской литературы.

\*

Н. О. Лернер родился 19 ноября 1877 года в Одессе. В этом городе, гаммой на бессмертие которого, по крылатой формулировке В. И. Тугманского, явились еще строфы «Евгения Онегина», культ Пушкина своими корнями восходил к живому окружению поэта, к временам Амалии Ризнич, графини Воронцовой, «корсара в отставке Морали», поддерживаясь и в разноплеменной интеллигенции и в рабочих и в

мещанских низах не меньше, чем в замкнутых аристократических кругах воспитанников Императорского Александровского Лицея. Именно в Одессе пушкинская легенда, устный фольклор, сложившийся вокруг великого поэта и большого человека, продолжал бытовать, передаваясь с южной экспансивностью от поколения к поколению, до первых десятилетий XX века. Этот местный, специфически одесский, культ Пушкина, с некоторым уклоном линии интересов его жрецов и почитателей в детали биографии и в интимно-бытовые связи поэта, многое объясняет в условиях формирования вкусов и в характере эрудиции будущего пушкиниста<sup>1</sup>.

\*

В 1899 году Н. О. Лернер окончил юридический факультет Новороссийского университета. Некоторое время он служил в Кишиневском окружном суде и в Тифлисской судебной палате, затем, около 1904 года, перешел в адвокатуру, в которой оставался до Октябрьской революции, совмещая в Петербурге права и обязанности присяжного поверенного с активной [литературной] журнальной и научно-исследовательской работой<sup>2</sup>.

Первые заметки о Пушкине, которыми дебютировал Н. О. Лернер в одесской печати в 1899–1900 гг., [еще не имели авторского лица] можно было бы определить как «мысли вслух» восторженного молодого читателя, а не как первые опыты будущего исследователя\*. Даже анонимный пересказ в одном из предъюбилейных номеров «Ведомостей Одесского градоначальства» (9 мая 1899 г. № 102) многократно использованного уже в научной литературе секретного дела архива Новороссийского генерал-губернатора о высылке Пушкина из Одессы в 1824 г. не дает ни одной новой детали о поэте, не интересен ни в биографическом, ни в археографическом плане.

В том же 1899 году Н. О. Лернер, однако, входит и в большую литературу. Старейший из русских пушкиноведов, П. И. Бартенев, начинает печатать в «Русском архиве» заметки молодого пушкиниста, основанные на новом документальном материале («Письмо Пушкина к А. И. Осиповой», «Письмо Пушкина к Люценко»)\*\* или проливающие новый свет на тексты тех или иных произведений и писем Пушкина («Пушкин и А. Родзянко», «О происхождении стихотворения “Земля и море”»\*\*\*). Не случайно, что именно редактору «Русского архива» П. И. Бартеневу и тогдашнему секретарю издания В. Я. Брюсову посвя-

---

<sup>1</sup> Н. Л. «Пушкин и супруги Ризнич» (Ведомости Одесского градоначальства. 1900. № 76)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Русский архив. 1899. № 9. С. 172–173; 1900. № 9. С. 143–144<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Русский архив. 1900. № 9. С. 145–148<sup>5</sup>.

щает Н. О. Лернер свою первую книгу — «Труды и дни Пушкина» — биографический справочник, который и выдвинул его в первые ряды пушкинистов\*. Эта работа, прецедентом которой была лишь краткая «Хронологическая канва для биографии Пушкина», составленная в 1887 г. Я. К. Гротом\*\*, родилась в результате внимательнейшего пересмотра основных сборников биографических материалов о Пушкине, примечаний к изданиям его сочинений и огромной, накопившейся за полвека, журнальной и газетной литературы.

По числу своих документальных справок книга Н. О. Лернера в пять раз превосходила «Хронологическую канву» Я. К. Грота в ее последнем издании. Однако, фиксируя в строгой хронологической последовательности факты жизни и творчества Пушкина, справочник Н. О. Лернера все же не выходил еще за пределы тщательной компиляции. Механическая регистрация дат в «Трудах и днях» нигде не переросла в критическое изучение материала, биобиблиографический свод, сделанный с большим редакторским тактом, фатально повторял ошибки и пробелы своих печатных первоисточников.

Переработка первого варианта «Трудов и дней», вышедшего в свет в 1903 году и встреченного, несмотря на все свои погрешности, очень сочувственно в литературных и академических кругах, потребовала еще нескольких лет. Эти годы явились для Н. О. Лернера не только порою общего повышения его исторической и библиографической эрудиции, но позволили ему накопить и те элементарные исследовательские навыки, которых он был лишен по самим условиям своего выдвижения и роста.

\*

Второе издание «Трудов и дней Пушкина», над которым Н. О. Лернер работал около шести лет, частично используя отходы своего производства в «Русском архиве», «Русской старине», «Историческом

---

\* А. С. Пушкин. — Труды и дни. Хронологические данные, собранные Николаем Лернером. М.: Книгоиздательство «Скорпион», 1903. Цензурная дата книги — 30 декабря 1902 г. Дата предисловия: «Тифлис — 4 октября 1901 г.»

\*\* Первая редакция канвы была опубликована Я. К. Гротом в «Сборнике Отделения русского языка и словесности Академии Наук», т. XLII. 1887. С. 233–249. Ср.: Хронологическая канва для биографии Пушкина. Составил Я. Грот, издание второе, с дополнениями С. И. Пономарева. СПб., 1888. 48 с. В последней своей редакции канва была перепечатана в сборнике статей Я. К. Грота о Пушкине (1899). В канву, помимо основных данных о Пушкине, входили генеалогические справки, а также даты рождения и смерти связанных с поэтом его «товарищей и современников». Н. О. Лернер обе эти рубрики канвы не только сохранил, но и несколько расширил включением материала историографического.

вестнике», «Весах» и в других изданиях той поры, вышло в свет в 1910 г.\* Оно было выпущено уже «по распоряжению Императорской Академии наук», имело высшую ученую марку и, по общему количеству своих дат, биографических и литературных справок (около четырех с половиной тысяч), по методам их установок и проверки, стояло на той высоте, достижение которой вполне отвечало практическим запросам предреволюционного пушкиноведения. Правда, эти запросы были еще очень скромны — русская наука после биографических трудов П. В. Анненкова (1855, 1874) не располагала ни одной синтетической биографией Пушкина. Позднейшие общие очерки В. Я. Стоюнина (1880) и А. Венкстерна (1899) были слишком элементарны по самым своим заданиям и узкому кругу использованных в них источников, а монографии А. И. Незеленова (1882) и В. В. Сиповского (1907) являлись не биографическими исследованиями, а или идеологическими декларациями, или психо-патологическими характеристиками, тенденциозно иллюстрированными случайными цитатами из произведений и писем Пушкина. Документальные публикации были разбросаны по специальным изданиям, подчас редчайшим, пушкинские рукописи оставались не описанными и даже не учтенными, а из библиографических пособий исследователь располагал только «Пушкинианой» В. И. Межова, обрывавшейся на 1886 г., и обзором В. В. Сиповского, охватывавшем юбилейную литературу 1899 г.

В этих условиях книга Н. О. Лернера получала значение в своем роде единственного и почти универсального справочника, компенсируя отсутствие у нас и биографии и библиографии Пушкина, а отчасти и критического издания полного собрания его сочинений.

«У нас больше *говорили* о значении Пушкина, о его роли в истории нашего просвещения и о тому подобном, чем *изучали* его, — отмечал Н. О. Лернер в предисловии к своей книге. — Мне казалось, что раньше чем рассуждать о Пушкине, надо узнать его, и что прежде чем писать его биографию, надо собрать материалы для нее. У нас эта работа еще далеко не выполнена. Считая ее в настоящее время гораздо более нужной, чем всякие поспешные выводы и обобщения, сделанные на основании случайных данных, я взял на себя — соединить в одно стройное целое хронологические материалы для изучения жизни Пушкина. <...> Строго критически и осторожно относясь к бывшему у меня под рукой обширному материалу и стремясь сделать мои “Труды

---

\* Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Второе, исправленное и дополненное издание Императорской Академии наук. Удостоено полной премии Пушкинского Лицейского Общества. СПб., 1910. 577 с. Книга печаталась очень медленно. Предисловие к ней датировано 19 ноября 1904 г., но обширные «дополнения и поправки» (с. 430—489) учитывали литературу до 1907 г. включительно. Очень ценен в этом справочнике был и широко развернутый «указатель» (с. 493—574).

и дни Пушкина” пособием для всех изучающих его, для критиков, биографов и издателей, представить в них своего рода биографию Пушкина в хронологических датах, я внес в них все известные нам доступные выяснению временные данные о его произведениях, письмах его, письмах к нему, отразившихся в его творчестве современных событиях. Конечно, далеко не все документы духовной жизни Пушкина, а особенно его творчества, глубокие и таинственные, могли проявиться вовне и быть запечатлены в каком-нибудь факте, время которого отмечено, и вполне заменить биографию хронология не может, но в ее указаниях — ключ к объяснению очень многого».

Потребность в справочнике, составленном Н. О. Лернером, была так велика, а обилие заключенного в нем материала так очевидно, что даже самая строгая критика, находясь под гипнозом этого вклада в пушкиноведение, в течение многих лет не замечала или замалчивала его принципиальный дилетантизм, его методологическую несостоятельность. Несмотря на огромную работу, затраченную Н. О. Лернером для второго издания книги, она и в этом своем варианте базировалась не на первоисточниках, систематически мобилизуемых и критически изучаемых, а на печатных данных, в которых материал, необходимый для справочников типа «Трудов и дней», далеко не всегда получал полное отражение, а иногда и вовсе опускался\*. Характерно, что, приступая к своей работе, Н. О. Лернер не только не предусматривал предварительных самостоятельных разысканий неизвестных материалов о Пушкине в государственных и в частных архивах, но никогда не прибегал и к проверке уже известных документов по их автографам. Этот упорный, хотя нигде открыто не прокламированный отказ от генеральной выверки всего старого рукописного фонда материалов Пушкина и о Пушкине, это неожиданное уклонение от поисков документально нового в области биографической традиции, субъективно были, конечно, обусловлены отсутствием у Н. О. Лернера какой бы то ни было филологической школы и природного источниковедческого чутья. Для Н. О. Лернера как пушкиниста эти дефекты остались характерными до самого конца его жизненного пути, но нигде результаты этого пассаизма, этого отсутствия широкой исследовательской инициативы не были так досадны, как в его монументальном справочнике<sup>6</sup>.

Для «Трудов и дней» остались не просмотренными не только основные фонды творческого архива Пушкина в Румянцевском музее в Москве, но и коллекции бумаг поэта в Государственной Публичной библиотеке и в Академии наук. Редкие ссылки, которые находим мы в

---

\* Напр<имер>, палеографические признаки, уточняющие даты рукописей, регистрационные отметки на служебных документах, формулярные данные и т. д.

«Трудах и днях», на рукописные первоисточники были либо случайны и несущественны\*, либо взяты из вторых рук — так, В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский, П. Е. Щеголев, Н. К. Пиксанов, С. А. Переселенков охотно информировали Н. О. Лернера о некоторых из подготовленных ими к печати материалах (очередные тома «Переписки Пушкина», описание его библиотеки, бумаги О. С. Павлищевой, письма Греча к Булгарину, рукописи Остафьевского архива, собрания Л. Н. Майкова и А. Ф. Онегина, цензурные дела «Современника»). Без всех этих документальных данных книга устарела бы еще до выхода своего в свет\*\*.

Отказавшись от работы по первоисточникам, самый беглый просмотр которых обогатил бы его канву десятками и сотнями дат первостепенного значения, избавил бы ее от огромного числа неточностей, пробелов и ошибок, Н. О. Лернер столь же дилетантски сделал пробег и по основным кругам необходимых для него печатных материалов.

В самой слабой степени оказался отраженным в «Трудах и днях» весь фонд источников, давший материал для известного библиографического исследования М. А. Цявловского «Пушкин в печати» (1914), — мы имеем в виду данные о всех прижизненных публикациях и перепечатках Пушкина, точные даты цензурных разрешений его вещей, даты их фактического выхода в свет. Далеко не полностью были зарегистрированы в книге Лернера отклики современной Пушкину критики на его произведения, явная и скрытая полемика с ним в печати. Недостаточно полно была отражена в «Трудах и днях» мемуарная литература о Пушкине — особенно в тех случаях, когда мемуарная запись не сопровождалась в первоисточнике точной хронологической справкой. Фиксация в справочнике Н. О. Лернера хотя бы приближенно — месяцами или годами — того или иного события литературной или общественно-политической жизни была бы гораздо существеннее точных указаний в «Трудах и днях» встреч Пушкина с тем или иным из его знакомых в ресторане или за карточным столом. Очень слаб, наконец, в «Трудах и днях» общий политический и литературный фон биографии Пушкина. Мы полагаем, что даты, например, организации и съездов Союзов Спасения и Благоденствия, выступления Александра I на открытии польского сейма в 1818 г., событий 1820—<18>21 гг. в

---

\* Две даты из записной книжки 1820—1821 гг. (с. 56, 71), письмо к Вульффу от 10 октября 1825 г. (с. 127), бумаги Н. И. Тарасенко-Отрешкова (с. 269—272, 325), данные «дел» Рижского и Одесского генерал-губернаторства (с. 446—447).

\*\* Характерно, что некоторые документы, даты которых были сообщены Н. О. Лернеру к 1910 г., увидели свет через пятнадцать—двадцать лет после учета их в «Трудах и днях» (напр<имер>, экспромт «Когда Потемкину в потемках...», отзыв генерала Инзова о Пушкине от 31 марта 1821 г.).

Неаполе, Испании и Пьемонте, основных моментов междуцарствия 1825 г. или получения в Петербурге первых известий о революции 1830 г. и о восстании в Варшаве, дней последних заседаний «Арзамаса», выхода в свет «Горя от ума», запрещения «Телескопа», появления статей Белинского и т. д. и т. п. — для окаймления биографии Пушкина не менее важны, чем генеалогические справки о первых отпрысках Радши или даты смерти потомков и исследователей поэта<sup>7</sup>.

\*

Во время печатания второго издания «Трудов и дней» появилась вторая большая работа Н. О. Лернера — статья «Проза Пушкина», написанная для известного коллективного труда «История русской литературы XIX в.» под редакцией Д. Н. Овсяннико-Куликовского (т. I, изд. т-ва «Мир», М., 1908, стр. 376—438). Круг проблем, которые должна была так или иначе поставить и разрешить статья Н. О. Лернера, принадлежал к числу наименее разработанных в пушкинской историографии. Исследовательских трудов, осмысляющих огромную работу Пушкина как прозаика, еще не существовало, а вся «литература предмета», оставаясь в плену эмоциональных оценок Белинского, Аполлона Григорьева и их эпигонов, исчерпывалась названиями пяти-шести статей и специальных заметок. Напомним, что в их числе не было еще ни одной даже о «Пиковой даме», а все изучения «Капитанской дочки» свелись за три четверти века к белгой заметке А. Д. Галахова о воздействии на нее одной из повестей Вальтер Скотта и к критическому этюду Н. И. Черняева о формах использования в ней материалов «Истории Пугачевского бунта». Выпуская свою статью в 1923 г. отдельным изданием\*, сам Н. О. Лернер характеризовал ее как «единственный покуда цельный и в общих чертах полный обзор творчества Пушкина в прозе». Таково было в течение многих лет и впечатление от этой работы многочисленных читателей, не исключая и специалистов-литературоведов. Проза Пушкина рассматривалась в обзоре Н. О. Лернера по ее «родам и видам» («Художественные произведения в прозе», «Исторические труды Пушкина», «Пушкин-публицист», «Пушкин-критик», «Автобиография и письма Пушкина»). Жанровый признак определял всю структуру статьи, из семи глав которой только вводная («Пушкинская теория прозы. Значение Пушкина в развитии русского прозаического языка и стиля») не имела жанровых обозначений в оглавлении. Однако если бы с этих строго формальных позиций мы

---

\* Н. О. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е, исправленное и дополненное. М.; Пг.: Книга, 1923. 112 с. Следует отметить, что Н. О. Лернер ограничился лишь технической правкой своей старой статьи, не учитывая позднейшей литературы. [(Работы Брюсова, Гофмана, Гершензона и даже самого Н. О. Лернера.)]



попытались бы сейчас определить жанр работы самого Н. О. Лернера, то оказались бы в большом затруднении. Статья о прозе Пушкина ни в какой мере не являлась оригинальным научным исследованием. Она не могла претендовать и на роль критико-библиографической сводки, деловой справочной компиляции, ибо принципиально учитывала далеко не всю «литературу предмета»\*. Претенциозный читатель, литературный гурман и дегустатор совершенно заслонили в ней историка и литературоведа. Критические сентенции Н. О. Лернера в «Прозе Пушкина» настолько иногда примитивны и архаичны, что гораздо больше напоминают отклики современных Пушкину рецензентов, чем заключения исследователя нашей поры. Особенно в этом отношении выразительны строки о «Повестях Белкина»: «Ценность содержания всех пяти рассказов чрезвычайно неравномерна, — отмечал Н. О. Лернер. — Рядом с слабыми и маловероятными анекдотами “Барышня-крестьянка” и “Метель” мы встречаем потрясающий рассказ “Станционный смотритель”; так же велика разница между “Выстрелом” и “Гробовщиком”. Не принадлежа к лучшим цветам пушкинского венца, рассказы Белкина — умная, светлая книга, будящая хорошие чувства»\*\*.

В интерпретации Н. О. Лернера проза Пушкина оказывалась совершенно лишенной исторической перспективы. Игнорируя конкретную литературную и политическую обстановку, в которой зарождались и осуществлялись творческие замыслы Пушкина, Н. О. Лернер рассматривал свой материал как бы вне времени и пространства. Проза Пушкина прокламировалась как некий комплекс извечных художественных ценностей, изолированных от общеизвестных путей русской и западноевропейской повествовательной традиции, с которой Пушкин

---

\* Из поля зрения Н.О. Лернера почему-то выпало в этой работе «Путешествие в Арзрум». Цитируя отклик на «Пиковую даму» М. О. Гершензона, он забывал о замечательном письме О. И. Сенковского, о гениальных суждениях Достоевского. Не найдем мы в книге Н. О. Лернера и ссылок на специальные очерки Н. И. Черняева, С. И. Поварнина, Н. Н. Страхова, на комментарии А. Д. Галахова и Л. И. Поливанова. Неудивительно поэтому, что «исправленное и дополненное» издание «Прозы Пушкина» в 1923 г. вовсе не учло ни одной из работ о Пушкине-прозаике, появившихся после 1908 г. Характерно однако, что [общепризнанный успех статьи и] гипноз самого имени Н. О. Лернера до последнего времени исключал[и] возможность критического подхода к его статье, тем более что она была единственной обобщающей статьей о прозе Пушкина. Так, напр<имер>, Д. П. Якубович, автор специального обзора статей и исследований о прозе Пушкина, еще в 1936 г. готов был признать «широту пушкиноведческой эрудиции и остроумие отдельных наблюдений» этого талантливого, но совершенно безответственного литературно-критического этюда (Временник Пушкинской комиссии. 1936. Кн. 1. С. 297).

\*\* Н. О. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е. М.; Пг., 1923. С. 33, 36.

был исторически связан, которой подчинялся, с которой боролся и которую победил.

Свои заключения Н. О. Лернер обычно не мотивировал. Все его декларации в «Прозе Пушкина» — не только первом, но и единственном его опыте работы большого масштаба — подчеркнуто импрессионистичны, напоминая и своими методологическими предпосылками, и литературной манерой модные в эту пору «Силуэты русских писателей» — критические «стихотворения в прозе» Ю. И. Айхенвальда\*. Кажется, прямо и непосредственно восходит к нему, например, вся страничка о письмах Пушкина: «В течение всей своей жизни Пушкин, незаметно для самого себя, составил одну из лучших своих книг — собрание писем, груды золотых слитков русского слова, роскошный фейерверк алмазных искр. Бесконечно разнообразная, интересная, живая, богатая роскошно расцветшими силами натура Пушкина отразилась в его переписке не бледнее, а с некоторых частных сторон даже ярче, чем в его лирике. Гений во всем, Пушкин гений и в своих письмах. Как под руками сказочного чудодея все обращалось в драгоценный металл, так из-под пера нашего волшебника слова летели золотые брызги. Он был весь преисполнен творческого гения, этот неутомимый “сверчок”, певец русского народа, вечно горящая “искра” в сумерках нашей культуры» (стр. 108—109).

Воздействие на Н. О. Лернера манеры и установок одного из самых блестящих выразителей антиисторических и реакционно-упадочных тенденций контрреволюционных «Вех» было, конечно, не случайно и не раз давало себя знать и в позднейших его писаниях. Однако, выбирая между путями Б. Л. Модзалевского и Ю. И. Айхенвальда, автор «Трудов и дней», не без некоторых колебаний (выражением которых остались его этюды в «Истории русской литературы» Д. Н. Овсяннико-Куликовского)\*\*, пошел по стопам академических комментаторов, в конечном счете критик-импрессионист оказался во власти исторических традиций и библиографических стандартов школы Л. Н. Майкова и В. И. Саитова.

---

\* Обычно очень скупой в положительных оценках своих современников, Н. О. Лернер книгу Ю. И. Айхенвальда «Пушкин» (М., 1908) помянул даже в основном тексте своей работы: «Прелесть этого стиля <Пушкина> оценил талантливый критик-лирик Ю. И. Айхенвальд, отозвавшийся в своих радостно-звонких “откликах”: “само естество смотрится в его творения как в зеркало” и пр. (Проза Пушкина, изд. 2-е. С. 27).

\*\* В «Истории русской литературы» под редакцией Д. Н. Овсяннико-Куликовского кроме работы о прозе Пушкина Н. О. Лернер напечатал статьи: «П. Я. Чаадаев» (т. II, с. 1—14), «А. А. Григорьев» (т. II, с. 269—279) и «Н. С. Лесков» (т. IV, с. 207—229).

Многочисленные документальные публикации и комментаторские заметки Н. О. Лернера, первые из которых родились еще в пору работ над «Трудами и днями», а последние появились в сборнике «Звенья» тридцать лет спустя уже с его портретом в траурной рамке, при всем многообразии их тем и широте эрудиции автора, во-первых, никогда не являлись результатом разысканий хоть сколько-нибудь систематических, и во-вторых, ни разу не акцентировались на узловых проблемах жизни и творчества Пушкина. Интерес к эпизоду, изучение детали нигде не увязывалось с целым, выводы общей значимости не только нигде и никак не формулировались, но даже не подразумевались<sup>9</sup>.

В этом отречении исследователя от всего того, что выходило за пределы эмпирического познания случайно наблюденных явлений, неизбежно подменялось или вовсе утрачивалось понятие о самом объекте, подлежащем изучению, за деревьями уже переставал ощущаться лес.

Высокомерный апологет того или иного случайного «факта», Н. О. Лернер не раз пытался свои микрологические разыскания характеризовать как какое-то «объективное знание», противопоставляя свою работу всем «заманчивым подчас, но бесплодным построениям» синтетического порядка.

«Без объективного знания, — писал он, например, в 1929 г. в своем предисловии к «Рассказам о Пушкине», — всевозможные оценки личности поэта и созданного им великого дела должны оставаться беспочвенными и могут лишь давать простор произвольным, заманчивым подчас, но бесплодным построениям»\*.

Так, свою собственную теоретическую неподготовленность к решению проблем, стоящих перед историком и литературоведом, свою личную неспособность проникновения в диалектику исторического развития Н. О. Лернер возводил до уровня общего закона. Так, даже в лучших работах этого претенциозного фактографа *знание*, говоря словами Гегеля, неизменно снижалось до *мнения*.

Этот нигилистический эмпиризм дилетанта, начетчика, а не ученого определенно дезориентировал и читателя, навязывая ему ложное представление о том, что все большие вопросы пушкиноведения давно уже решены или по самому своему существу неразрешимы, что на долю современных исследователей Пушкина не осталось уже ничего, кроме распутывания биобиблиографических ребусов, случайных открытий источниковедческого порядка, дискуссий о мелочах его литературных и интимно-бытовых отношений.

Потребность в точных, конкретных, актуально-осмысленных данных о поэте, ответить на которую обещали первые работы Н. О. Лернера,

\* Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине. Л.: Прибой, 1929. С. 3.

не могла быть надолго удовлетворена писаниями типа «Курил ли Пушкин?», «Описка или опечатка?», «Об одной запятой в “Евгении Онегине”», «Пушкин-гастроном» и т. д. и т. п.

И сам Н. О. Лернер и его аудитория оказались в тупике, поскольку все эти публикации являлись не предварительной реализацией отходов какой-то большой целеустремленной работы, а своевольной растратой творческой энергии и инициативы на производство не всегда нужных суррогатов, вместо остродефицитных полноценных вещей.

Об ученых и литераторах, к разряду которых принадлежал Н. О. Лернер, очень метко сказал как-то Чехов устами одной из своих героинь, протестовавшей против «вялости и робости» современной ей позитивной научной мысли: «Мне кажется, что если бы все вы, мыслящие люди, посвятили себя решению больших задач, то все эти твои вопросы, над которыми ты теперь бьешься, решились бы сами собой, побочным путем. Когда добывают стеарин, то, как побочный продукт, получается глицерин. Если ты поднимешься на шаре, чтобы увидеть город, то поневоле, само собою, увидишь и поле, и деревни, и реки».

Сам Н. О. Лернер прекрасно понимал свою неполноценность как исследователя, уклонившегося от решения «больших задач», свои успехи лишь на боковых участках фронта, а не на линии большого огня<sup>10</sup>.

В неспособности эту неполноценность преодолеть заключалась и его трагедия как ученого-пушкиноведа. Объект своих интересов он изучал очень пристально, но в ракурсах случайных и не всегда характерных. Круг сведений его был [очень] широк, но не отличался ни системой, ни глубиной, а потому и его всегда блестящая, живая речь на бумаге не разворачивалась и слишком быстро переходила в бормотание или скороговорку. Свои материалы Н. О. Лернер никогда не мог использовать до конца. Трудно сказать, был ли Н. О. Лернер полновластным хозяином всех накопленных им сведений и материалов. Нам представляется, что весь этот груз был ему в тягость, и, опасаясь быть им раздавленным, он сам растрчивал его по мелочам или, как непосильную ношу, сбрасывал его с плеч на полпути.

\*

Мастер малой формы, исследователь-микролог, Н. О. Лернер обладал редким даром внушения своим многочисленным читателям иллюзии общепонятности, значимости и занимательности кропотливейших изучений даже третьестепенных деталей биографии Пушкина. Как пропагандист и популяризатор пушкиноведения Н. О. Лернер сделал много больше своих предшественников и сверстников еще и потому, что первый проложил дорогу статьям, рецензиям и заметкам на специальные пушкинские темы из малотиражных историко-литературных изданий в большую прессу, в массовые еженедельники, в

столичные и провинциальные газеты. Публикации эти настолько легко и охотно усваивались самыми разнотипными органами печати — от «Известий Императорской Академии наук» до детского «Задуманного слова», что в зените своей славы, прежде чем дать той или иной из своих заметок окончательное оформление в каком-нибудь специальном издании, Н. О. Лернер помещал ее в столичной «Речи», сразу же санкционировал перепечатку ее в «Одесских новостях», затем передавал выправленную корректуру в еженедельник («Огонек», «Ниву», «Журнал журналов») и лишь после этого тройного тиснения переадресовывал свой материал аудитории «Русской старины», «Северных записок», «Русского библиофила» или в сборники «Пушкин и его современники». Методы популяризации научно-исследовательских статей и заметок о Пушкине, применявшиеся Н. О. Лернером, необычайно быстрыми темпами расширяли исторически сложившуюся базу академического пушкиноведения, создавали спрос на его продукцию, вовлекали в сферу его интересов новые кадры специалистов. Не случайно именно Н. О. Лернер как биограф и комментатор был канонизирован и в той большой пушкиноведческой энциклопедии, в которую превратил С. А. Венгеров редактированные им шесть томов монументального Пушкина, выпущенные издательством Брокгауз — Ефрон между 1906 и 1916 гг.

В этом издании, подводившем итоги шестидесятилетней работы по изучению жизни и творчества Пушкина, объединившем на своих страницах весь литературоведческий актив начала века, Н. О. Лернер дебютировал в 1907 г. заметками о некоторых лицейских произведениях Пушкина (перечислить!). В томе втором, вышедшем в 1907 г., ему принадлежал компилятивный историко-бытовой этюд «Пушкин в Одессе» и несколько заметок. Однако, по мере продвижения издания к окончанию, место, занимаемое в нем Н. О. Лернером, становилось все более и более ответственным и заметным. В томах третьем, четвертом и пятом ему принадлежали комментарии ко всем стихотворным произведениям 1820—1831 гг., статьи «Дон-Жуанский список» и «Пушкин в Москве после ссылки», а в последнем томе, вышедшем в 1915 г., Н. О. Лернер играл уже ведущую роль не только как комментатор всех стихотворных текстов 1831—1836 гг., но и как фактический редактор и составитель заключительных разделов издания. Именно ему принадлежали публикации «Новые и неизвестные страницы Пушкина» и «Дополнения к письмам Пушкина» (прозаические, стихотворные и эпистолярные новинки пушкинского текста, обнаруженные после выхода в свет первых томов издания). Текст вводных статей и примечаний Н. О. Лернера превосходил в этом томе текст самого Пушкина в (столько-то) раз и по своему исключительному объему являлся подлинной «книгой в книге», охватывая (столько-то)

авторских листов предельно конденсированного историко-литературного материала<sup>11</sup>.

\*

На протяжении всего своего жизненного пути, как отмечалось и подчеркивалось нами уже не раз, Н. О. Лернер оставался не столько ученым, сколько начетчиком, не столько исследователем, сколько пытливым и широко эрудированным читателем. Сырье для своих писаний он черпал только из книг. Они и были его единственной производственной базой, эксплуатируемой несколько экстенсивно, кустарно, с случайными большими «открытиями» и с меньшими просчетами и провалами. Пушкинский текст он проецировал на богатства русской и французской литературы XVIII и XIX столетия, факты биографии Пушкина — на мемуарные и документальные публикации в русских и зарубежных изданиях, в старых и новых журналах, газетах и альманахах. Правда, он никогда не работал систематически. Как это ни странно и ни страшно сказать об известнейшем пушкинисте, авторе нескольких книг и сотен статей и заметок, — у него никогда не было и *своих* тем. Свою свечу он обычно зажигал от чужого огня — писал или *по заказу*, конкретному и прямому («Проза Пушкина», комментарии в венгерском издании Пушкина), или в порядке отклика на чужое, отталкиваясь от его недочетов, вдохновляясь его ошибками, восполняя его пробелы. Публикуя в пятом томе «Звеньев» свои предсмертные «Пушкинологические этюды» — двадцать две миниатюрных монографии, из которых одна («Заметки на полях “Евгения Онегина”») распалась, в свою очередь, на двадцать три оригинальных заметки, Н. О. Лернер [в предисловии] не без некоторого смущения (это «предисловие» потребовано у него было издательством) должен был выдать читателю некоторые секреты своей исследовательской лаборатории: «Личность Пушкина и значение его творчества сами придадут моим очеркам единство, о котором я, признаться, не помышлял, когда они составлялись, под различными впечатлениями и по различным поводам, подчас случайным». Эти «поводы» чаще и больше всего доставляли Н. О. Лернеру публикации его предшественников и современников — Н. О. Лернер был природным рецензентом. Не чем иным, как развернутыми рецензиями, являлись и почти все его «пушкинологические этюды». Весомость его дополнительных материалов и соображений подчас полностью уничтожала аргументацию разбираемых им изданий. Строгий, дотошный, иногда излишне придирчивый, но всегда широко осведомленный судья и референт, к сожалению, нередко совмещался в Н. О. Лернере с хлестким, раздражительным и надменно-претенциозным литературным бретером. (Примеры рецензий Н. О. Лернера; выбрать из «Русского библиофила»,

«Печати и революции», «Вечерней Красной газеты». Хорошо бы как примеры пристрастных рецензий — отзывы о Жандровской рукописи «Горя от ума» под ред. Н. К. Пиксанова, о книге Цявловского «Пушкин в печати», о брошюрке Зильберштейна. Ср. рецензию Н. Лернера на «Письма Пушкина и к Пушкину» под ред. М. А. Цявловского: «Новый сборник писем Пушкина» («Крас<ная> газета», веч<ерний> выпуск от 8 января 1926 г.)<sup>12</sup>.) Его глумливые, брызжущие ядом и желчью разборы новинок литературной историографии пушкинской поры выполняли в своей области функцию беспардонно-памфлетных критических фельетонов В. П. Буренина в «Новом времени» <18>80—<18>90-х гг. Закрепившись именно как рецензент на перекрестке всех дорог, ведущих в запретную для непосвященных зону пушкиноведения, Н. О. Лернер, подобно былинному Соловью-разбойнику, в течение многих лет не давал прохода в нее «ни старому, ни малому, ни прохожему, ни проезжему».

Помню как сейчас неподдельную радость покойного С. А. Венгерова, когда он узнал (это было летом 1916 г.), что Н. О. Лернер *не выскажется в печати* о втором томе органа Пушкинского семинария при Петербургском университете «Пушкинист». Так отмалчивался он и при выходе в свет больших работ П. Е. Щеголева, статей М. О. Гершензона, публикаций Б. Л. Модзалевского и М. Л. Гофмана. В этих случаях *молчание* Н. О. Лернера котирировалось в кругах специалистов гораздо выше самых восторженных приговоров других критиков<sup>13</sup>.

\*

Венгеровское издание, прокламировавшее с наибольшей эффективностью позиции, завоеванные Н. О. Лернером как лучшим знатоком и популяризатором Пушкина и литературного быта пушкинской поры, было его последним большим достижением, последней демонстрацией его общепризнанных успехов. Но это же издание, вобрав в себя значительную часть того, что сделано Н. О. Лернером в области комментирования Пушкина после выхода в свет «Трудов и дней», как в фокусе, отражало не только его бесспорные удачи и достижения, но и все органически присущие ему как исследователю пороки, и все его случайные ошибки и провалы. Особенно неблагоприятным оказался самый ответственный участок публикаций Н. О. Лернера — его разыскания в области анонимных текстов Пушкина.

Безоговорочно введены были им в «полное собрание сочинений Пушкина» не только продукты коллективного творчества, доля участия в которых Пушкина вообще не поддавалась учету или была очень скромна и оставалась неясна самому Н. О. Лернеру («Нравоучительные четверостишия», «Князь Шаликов, газетчик наш печальный», «Уединенный домик на Васильевском острове»), но и вещи, принадлежность которых не Пушкину, а другим литераторам доказана была впоследствии

даже документально. Для всей серии как этих работ Н. О. Лернера, так и для его более ранних разысканий в области «трудов и дней» Пушкина характерен крайний примитивизм исследовательской аргументации. В одних случаях это был подмен филологического анализа самих первоисточников критикой показаний о них, произвольное жонглирование ссылками и цитатами, весь лес которых нередко рушился, как карточный домик, при непосредственном обращении к документам\*. Для других случаев был особенно характерен безответственный дидактизм эмоционально-вкусовых заключений, подменявших конкретное выявление особенностей пушкинского стиля, своеобразия именно его запаса образов и оборотов, синтаксиса и словаря. Так, например, в течение нескольких лет Н. О. Лернер настаивал на принадлежности Пушкину анонимного предисловия к неизданной повести Батюшкова «Предслав и Добрыня», опубликованной в «Северных цветах на 1832 год»: «И по языку (?) и по содержанию (?) заметки ясно (?), — безответственно решал Н. О. Лернер, — что она могла быть написана не Сомовым, не Плетневым, а только (?) Пушкиным» (Пушкин и его современники. 1913, вып. XVI; перепечатано в изд. «Пушкин», т. VI. 1915). Между тем вся техника построения этой претенциозно-слащавой информационной заметки, т. е. именно особенности ее «содержания» и «языка», к которым взывал Н. О. Лернер, совершенно исключали возможность принадлежности ее Пушкину, независимо от того, что на основании опубликованных нами в 1934 г. материалов архива Пушкина документально устанавливалось, что автором этого анонимного предисловия был именно О. М. Сомов. Не отличив в одном случае Пушкина от О. М. Сомова, Н. О. Лернер в другом приписал Пушкину стихи Кюхельбекера. Мы имеем в виду его «доказательства» принадлежности самому Пушкину стихов «Как облака на небе, так мысли в нас меняют легкий образ» и т. д. (один из эпитафий к «Арапу Петра Великого»), взятых в действительности из трагедии Кюхельбекера «Аргивяне» («Мнемозина» 1824 г.) (см. об этом нашу заметку в «Атенее» 1924 г., кн. I)<sup>14</sup>.

Ни одного серьезного основания не мог привести Н. О. Лернер и в пользу принадлежности Пушкину тех двух неподписанных полемических заметок и одной рецензии, которые он почему-то выделил как пушкинские из массы анонимных публикаций той же «Литературной» газеты» 1830 г. Несмотря на то, что две из них («Когда Макферсон издал стихотворения Оссиана»\*\* и диалог «А. и Б.») включены были

---

\* См., напр<имер>, статью Н. О. Лернера «Стихи Пушкина о Марино Фальери» (Русский библиофил. 1913. № 2) и наши замечания по поводу этой статьи в том же издании (Русский библиофил. 1915. № 3).

\*\* См. заметки Н. О. Лернера в «Северных записках» (1913. № 2. С. 31–32).



даже в изд<ание> «Пушкин» под редакцией С. А. Венгерова (том VI), а третья (рецензия на трагедию Н. Станкевича) опубликована была как пушкинская в «Журнале журналов» 1915 г., самому неискушенному читателю сейчас ясна их критическая немощь, их идеологическая неполноценность, их литературно-техническая беспомощность, разумеется, несовместимая с общеизвестными публикациями Пушкина в «Литер<атурной> газете»<sup>15</sup>.

В области исторических и биографических изучений Н. О. Лернер делал иногда промахи еще более разительные, чем в разысканиях текстологических. Особенно характерен в этом отношении его провал при публикации одной из записок графа А. Х. Бенкендорфа на имя Николая I (по копии из собрания П. Е. Щеголева). Беглое упоминание шефа жандармов о «Пушкине» (речь шла о приятеле Бенкендорфа, обер-шенке царского двора графе В. В. Мусине-Пушкине) не только было безоговорочно принято Н. О. Лернером («Красная газета», вечерний выпуск от 31 августа 1928 г.) за неизвестное свидетельство об А. С. Пушкине, но даже дало материал для сурового реприманда по адресу поэта, который, «не ограничиваясь официальными сношениями», запросто в 1834 г. якобы «принимал у себя шефа жандармов». Этот комментаторский промах, смешной и несостоятельный по существу, был особенно досаден еще и потому, что он вскрывал обыденски примитивное представление исследователя об определившихся для Пушкина условиях личных, светских и деловых взаимоотношений с руководителями государственного охранительного аппарата, — представление, несовместимое с правильным пониманием своеобразия и исторического облика Пушкина и всех особенностей общественно-политической обстановки 30-х годов.

С еще большей резкостью импрессионистическое своеволие дилетанта сказалось в срыве Н. О. Лернера при публикации им в 1918 г. мнимого окончания пушкинской «Юдифи» («Когда владыка ассирийский...»), грубой подделки, провокационно подброшенной ему группой молодых московских стиховедов во главе с С. П. Бобровым. Этот провал был, пожалуй, наиболее эффективен по широте своего резонанса и наиболее тяготен для него по своим результатам. Острота поражения определялась, конечно, не тем, что Н. О. Лернер стал жертвой литературной мистификации, а примитивностью тех средств, которыми успех этой мистификации был обеспечен, обнаженностью ее расчетов на отсутствие у Н. О. Лернера необходимого критического чутья и исследовательского такта. И Лернер не только на эту провокацию подался, но, не разгадав явно пародийного обрамления фальшивки (историко-бытовые реалии «драгоценной находки»), безоговорочно расценил ее как одно из последних достижений поэти-

ческого мастерства Пушкина, как фрагмент подлинного окончания «Юдифи»\*.

Лидер буржуазного пушкиноведения был безнадежно скомпрометирован в своей цитадели. Его диктатура рухнула, как колосс на глиняных ногах, сразу обнажив отсутствие прочных точек опоры, рухнула не под напором критики, от полемических ударов в печати (в прессе было только два отклика на позорную публикацию\*\*)<sup>16</sup>, а в порядке какого-то неписаного общественного приговора, никем никогда не мотивированной, но безапелляционной сентенции, общезначимой и неоспоримой<sup>17</sup>. Не случайна и историческая дата провала Н. О. Лернера — его статья об окончании «Юдифи» появилась 4 мая 1918 г., на столбцах «Нашего века» (под этим названием выходила в эти дни многократно уже репрессированная органами пролетарской диктатуры контрреволюционная «Речь»), незадолго до ликвидации в РСФСР всей буржуазной печати. Органически связанный именно с последней, Н. О. Лернер в советское пушкиноведение мог войти только как некий архаический пережиток, как случайный реликт чуждой идеологии и безнадежно дискредитированных методологических установок.

\*

В универсальный справочник «Весь Петроград» Н. О. Лернер попал в 1917 г. только как присяжный поверенный. Однако юридической практикой в это время он уже почти не занимался. Его основной профессией являлась литературная работа, он был фактическим редактором журнала «Столица и усадьба», постоянным сотрудником «Речи», активным участником многих столичных и провинциальных изданий. Формально он числился еще и чиновником Главного Управления Красного Креста, куда был откомандирован в 1916 г. после своего призыва из запаса на действительную военную службу.

Октябрьская революция сразу выбила Н. О. Лернера из всех завоеванных им позиций. Закрытием буржуазных газет и журналов, национализацией типографий, приостановкой, самоликвидацией и закрытием частных издательств неожиданно зачеркивалось все его прошлое, разрушался его бюджет, обесценивались его производственные возможности, подрывались самые основы его быта.

---

\* Н. О. Лернер. Новооткрытые стихи Пушкина. Окончание «Юдифи» (Наш век. 4 мая 1918 г.). Об этой подделке см. автопризнание С. П. Боброва (Печать и революция. 1922. № 8) и сводку материалов Б. В. Томашевского (Литературное наследство. 1934. <Т. 16/18>. С. 1102–1103).

\*\* Протестующие заметки Ал. Слонимского в «Книжном угле» (1918. № 2) и Вл. М<ияковского> в «Курантах искусства и литературы» (Киев, 1918. № 9, сентябрь).

Для огромного большинства сверстников Н. О. Лернера, его товарищей по литературной работе, понадобилось очень немного времени для приспособления к ритмам новой эры, к формам быта возмужавшего коммунизма, для самой примитивной переориентировки их знаний, специальностей и интересов. Отсиживаясь от революции в Доме литераторов, в Центральном архиве, в бесчисленных секторах и комиссиях Наркомпроса, получая пайки в ЦКУБУ, а авансы — в издательстве З. Гржебина и во «Всемирной литературе», они к концу интервенции и гражданской войны, к моменту ликвидации голода, холода и блокады стали уже выходить из домов в сугробах на большую [дорогу] работу, получив новые специальности, закрепив за собой вторые профессии — преподавателей высшей школы, редакторов Госиздата, консультантов Наркомпроса и Центрального архива, Музея Революции, высококвалифицированных переводчиков, киносценаристов, детских писателей и т. д. и т. п. Нельзя сказать, чтобы и Н. О. Лернер остался совершенно чужд этим тенденциям самосохранения и приспособления. Он деятельно участвовал в одной из секций «Всемирной литературы» (о совместной с ним работе где-то очень весело поминал Александр Блок), в издательстве Гржебина выпустил отдельной книжкой свой старый очерк жизни и деятельности Белинского, год или два даже числился профессором Педагогического института им. Герцена. Но все это было как-то не всерьез, временно и случайно, нигде корней он не пускал, долго не задерживался, везде оставался телом инородным, элементом чуждым и враждебным. Сказалось ли в этом органическое неприятие новой стройки и вдохновляющих ее идей, глубокая ли личная уязвленность революцией, но всеми своими повадками, внешним обликом, каждым жестом, не говоря уже о суждениях, Н. О. Лернер резко демонстрировал свою принадлежность к потонувшему миру, миру, конечно, не «столицы и усадьбы», а контор крупных издательских предприятий, больших буржуазных газет, редакций многотиражных журналов. Он явно не верил в то, что этот мир ушел уже навсегда, продолжал жить в плену реакционных политических грез, обывательских слухов и ожиданий и быстро, не по годам, дряхлел физически и интеллектуально опускался.

\*

Плотный, породистый, геморроидально бледный блондин, с большими серо-голубыми глазами, бритый, с строго подстриженными усами, еще без всяких признаков лысины и седины, в поношенном, но шитом когда-то у хорошего портного пиджачном костюме, Н. О. Лернер одновременно казался и старше и моложе своих лет. Манеры избалованного профессиональными и личными удачами дельца — вивера, гурмана и остряка (не русского и не европейского, а, может быть, старо-одесского буржуазно-интернационального склада) еще [в 1920-е г.] долго давали

себя знать в каждой фразе, в каждом движении этого литератора и адвоката, давно уже выбитого из колеи, несколько растерянного, но не сдавшегося, с большой зарядкой неугасшего темперамента, следами больших способностей и еще больших претензий.

Запас его сведений и круг интересов был очень велик. Правда, эта эрудиция несколько утомляла и разочаровывала, отражая не столько большой жизненный опыт, богатство и красочность личных встреч, впечатлений и наблюдений, сколько многолетнюю книжную культуру, твердую память влюбленного в литературные и исторические факты читателя. Его речь, как и мысль, лишена была и оригинальности, и размаха. Его остроумие казалось несколько назойливым и старомодным. Его софистика на время обезоруживала, но никогда никого не убеждала.

Нервно, не выпуская из рук поминутно гаснущей и вновь зажигаемой папиросы, просыпая табак и пепел на пол и на костюм, Н. О. Лернер без умолку говорил, говорил, не давая рта раскрыть собеседникам, отбрасывая, как мяч, их — поневоле редкие и случайные — реплики. Последние, впрочем, его по существу почти и не занимали — к своим слушателям Н<иколай> О<сипович> относился с [царственной] пренебрежительной снисходительностью Гулливера в стране лилипутов. Но в сознательной, нарочитой бестактности обвинить его здесь было бы нельзя. Обидная для собеседников манера Н<иколая> О<сиповича> слушать и говорить усугублялась его прогрессирующей глухотой. В этой глухоте он не хотел сознаваться, но она с каждым годом все заметнее поражала его слух и осложняла новыми лишениями даже тот режим изоляции, который создал для себя он сам.

\*

Не перекочевав в 1918—1920 гг. за рубежи, Н. О. Лернер [как политически и морально парализованный] остался пригвожденным навсегда к своей петроградской квартире. За пределы города он уже не выезжал никогда. Его боязнь передвижений с течением времени стала носить почти маниакальный характер. Как и любимый им кот (кажется, единственный предмет его привязанности), он страдал агрофобией — из дому выходил очень редко — лишь по самым неотложным делам — в Публичную библиотеку, в Пушкинский Дом, в Госиздат, в Союз писателей. Трамваев он избегал, предпочитая ходить пешком — спешить ему было некуда. Ни в театрах, ни в кино, ни на выставках, ни в музеях Н. О. Лернера никогда не встречали. Заседаний ученых обществ он не посещал. Мне кажется, что он после 1918 г. не читал уже и газет, ограничиваясь просмотром вечернего выпуска «Красной газеты» — в период антрепризы Ионы Кугеля наша «вечерняя Красная» так напо-

минала дореволюционную «Биржовку», что Н. О. Лернер мог и не замечать некоторых нюансов в направлении обоих органов.

\*

В пору нэпа и первых двух пятилеток Н. О. Лернер жил уже на положении литературного пролетария, журналиста без определенной трибуны, исследователя без конкретной материальной и производственной базы. Его бюджет слагался из мелких и случайных поступков за рецензии и заметки в вечерней «Красной газете», в «Книге и революции», в «Красной ниве», в «Былом», в «Каторге и ссылке», в «Огоньке», за реферирование новинок западноевропейской беллетристики для Ленгиза. Правда, в 1922 г. он переиздал свою «Прозу Пушкина», а в 1929 г. выпустил отдельной книжкой некоторые из своих биографических и историко-литературных этюдов («Рассказы о Пушкине»), но все эти публикации не могли обеспечить подъема его попоранного авторитета, его хотя бы временной реставрации.

Издредка перепадали авансы — за книги, работа над которыми не была доведена до конца (новое издание «Трудов и дней Пушкина», компилятивная биография княгини Юрьевской, последней фаворитки Александра II, этюд о великом князе Николае Константиновиче, уголовного дяде Николая II, сосланном в конце <18>70-х гг. в Ташкент) или только начата — например, последний из его больших замыслов — критическая сводка материалов о Ваньке Каине для Издательства писателей<sup>18</sup>. Все эти виды заработка, распыленные к тому же на несколько лет, были, однако, более чем скромны и выхода из нужды никогда прочно не обеспечивали.

В академических кругах у Лернера было еще меньше корней, чем в литературных. Он был чужим человеком для С. Ф. Ольденбурга и бесконечно далек от кругов, связанных в эту пору с С. Ф. Платоновым. Тяжелые личные отношения Н<иколая> О<сиповича> с Б. Л. Модзалевским исключали возможности его приглашения и в Пушкинский Дом, новые штаты которого после академического юбилея 1924 г. должны были бы, казалось, прежде всего открыть двери в это учреждение одному из виднейших представителей пушкиноведения первой четверти XX века. Этого, однако, не произошло. Даже в Пушкинскую комиссию Н. О. Лернер вошел лишь после ее реорганизации в октябре 1933 г. Будущее представлялось столь же бесперспективным, как и настоящее. В 1924—1926 гг. мне не раз приходилось выручать Н<иколая> О<сиповича> самыми мелкими суммами — от 3 до 10 рублей, что само по себе было уже достаточно ярким показателем крайнего неблагополучия его быта.

Спассти положение, определить выход из тупика, в котором оказался исследователь, могло бы только новое издание «Трудов и дней Пушкина», фактический материал которого стоял бы на уровне необычайно остро наметившихся потребностей советского пушкиноведения в систематизированном справочнике, самый тип которого был столь блестяще угадан и установлен Н. О. Лернером четверть века назад.

Сам Н. О. Лернер не раз утверждал, что это новое, третье издание его книги давно уже им подготовлено к печати. Он указывал при этом на исчерпанный сотнями вставок, исправлений и уточнений как в самом тексте книги, так и на бесчисленных клочках бумаги старый печатный экземпляр «Трудов и дней», которым и сам он, видимо, давно уже не мог пользоваться — до того этот фолиант был неудобочитаем. Однако исправленное и дополненное издание «Трудов и дней», т. е. чисто механическая его доработка, не могло бы уже удовлетворить ни возросших требований той специальной аудитории, для которой справочник предназначался, ни самого его составителя. Книга нуждалась не в доработке, а в коренной перестройке, а для такой перестройки Н. О. Лернер не располагал ни необходимой для нее архивной и текстологической выучкой, ни привычкой к систематическому целеустремленному труду, без которого был бы невозможен пересмотр в Москве и Ленинграде хотя бы самых основных фондов пушкинских рукописей. Книга под разными предложениями отодвигалась с года на год. Сперва Н. О. Лернер не соглашался на те материальные условия, которые ему предлагались, затем не соглашался со сроками сдачи материала, которые обуславливались в договорах, а когда, наконец, и эти трудности были преодолены при передаче прав на третье издание «Трудов и дней» из Госиздата в издательство «Academia», Н. О. Лернер рукописи своей в печать не сдал уже без всяких мотивировок. Он и на этот раз оказался более строгим судьей своей работы, чем все его меценаты и критики. Третье издание «Трудов и дней» в свет не вышло.

Отсутствие редакционно-текстологического опыта крайне суживало возможности Н. О. Лернера и в пору развертывания в 1929—1934 гг. новых больших изданий Пушкина — в Госиздате и в Академии наук. Самое имя его уже давно никому не импонировало ни в кругах тех литературоведов, которые это издание возглавляли, ни в рядах тех, которые эту работу фактически вели. Сам Н<иколай> О<сипович> отлично понимал ложность своего положения — его участие не могло быть *синекурой*, поскольку в самом *имени* его новые издания не нуждались, а как *рабочая сила* он был уже как бы девалифицирован, не вызывая к себе ни доверия, ни интереса.

Выделенная Н. О. Лернеру для редактирования и комментирования часть издания<sup>19</sup> — дневники и мелкие автобиографические заметки

Пушкина — принята была им как «подачка», от которой он сразу же не отказался только потому, что отсутствие его имени в рядах участников первого большого советского «Полн<ого> собр<ания> соч<инений> Пушкина» могло бы иметь неприятный для него общественно-политический резонанс. Но подконтрольная работа в коллективе очень скоро оказалась для него непосильной. С раздражением и обидой реагируя на то, что подписанные им к печати тексты под разными предлогами перепроверяются по автографам, он стал задерживать самые срочные корректуры, не сдал в срок ни строки из порученных ему заметок для «Путеводителя по Пушкину» и, наконец, после ряда конфликтов заявил о своем отказе от участия в дальнейшей общей работе.

Имя Н. О. Лернера как участника издания сохранилось, таким образом, лишь в первом варианте издания — в выпусках «Полного собр<ания> соч<инений> Пушкина», отпечатанных как приложение к журналу «Красная нива». Но даже здесь оно являлось известной всем специалистам фикцией, поскольку никаких редакторских прав на напечатанный под его маркой текстовый материал исследователь фактически не имел.

\*

Жил он на Петербургской стороне, на углу Лахтинской и Малого проспекта<sup>20</sup>, в одном из больших доходных домов, которыми быстро застраивалась эта часть Ленинграда перед первой империалистической войной. Квартира была небольшая, не то в третьем, не то в четвертом этаже, запущенная, унылая и неудобная, безвкусно обставленная дешевой рыночной мебелью. Если бы не длинные ряды книжных полок и вороха книг, занимавших все стены и пол, а в рабочей камерке хозяина едва оставлявших место для продырявленного дивана и покосившегося письменного стола, то можно было бы поручиться, что именно таков сотни раз описанный интерьер петербургских столоначальников, [мелких сужающих, педагогов на пенсии,] школьных работников, бухгалтеров, а никак не квартира литератора, виднейшего пушкиниста, одного из вдохновителей «Столицы и усадьбы», «Русского библиофила» и «Старых годов».

Телефона не было. Стенные часы, остановившиеся, казалось, еще в 1917 г., выполняли только декоративную функцию. Где-то на кухне копошилась жена, незаметное, безответное, преждевременно поблекшее существо, как будто бы пришибленное непосильной работой, нуждой и горем. Таким же тихим, бесцветным ребенком казалась и единственная их дочь, худенькая черноволосая девочка, [школьница, окончившая десятилетку незадолго до смерти отца]; в 1924 г. ей было лет восемь. Вся семья скована была ощущением какого-то неблагополучия, как будто бы над домом стряслась недавно большая беда или умирал в

нем трудный больной. Звонки не действовали, лестница не освещалась, приходилось долго стучать, прежде чем за стеной начинал слышаться шорох робких шагов, приглушенный шепот переговоров. Наконец, после некоторой выдержки («авось, мол, не дождетесь и уйдете!») вам учиняли, не открывая дверей, краткий опрос и лишь после этого впускали в квартиру. Так, вероятно, в старину отсиживались от докучливых заимодавцев, так в другие времена встречали по ночам еще более досадных гостей.

Обычно открывал двери сам Николай Осипович. Оказывалось, что и предварительный опрос производился им, хотя вы явственно слышали шамкающий старушечий голос. Все это было в порядке той же примитивной защиты своего жилья от стороннего вторжения, которого как будто бы постоянно ждал и опасался хозяин. Каморка, в которой сам он жил и работал, которая заменяла ему и кабинет, и спальную, и приемную, не убиралась и не проветривалась несколько лет, с той же, вероятно, поры, когда в столовой перестали заводить часы, [когда невозвратным прошлым для всей квартиры сделалось «доброе старое время»]. Затхлая, закопченная, с окном, со двора затемненным капитальной стеной, с грудями книг на полу, на полках, на столе и на стульях, покрытыми толстым слоем пыли и табачного пепла, с ключьями грязной паутины во всех углах и перекрытиях, с пирамидами окурков и стаканом неизменного жидкого чаю у продырявленного дивана, она более походила на берлогу старьевщика в старых книжных рядах, чем на рабочий кабинет ученого. Домашним вход в эту каморку, кажется, был запрещен.

После нескольких попыток сделать уборку, доведших хозяина до тяжелых сердечных припадков, его оставили в покое. Из многочисленных знакомых навещали Н<иколая> О<сиповича> лишь очень немногие, да и то крайне редко. Его странности, репутация и едкий, никого не щадящий язык не способствовали поддержанию хороших личных отношений. С большей частью литературоведов он издавна был не в ладах, со многими даже не здоровался, едва ли не ко всем относился с завистью, злобно и недоброжелательно\*. К молодежи (а для него и люди моего поколения оставались даже в 30-е годы молодежью) он был снисходительнее, но постоянно приходилось быть настороже, учитывая его мнительность, обидчивость, претенциозность. Каждая книжная новинка занимала его лишь своими дефектами, любой литературный замысел (я не говорю уже о готовой работе) настраивал его только иронически, даже к публикациям новых материалов он отно-

---

\* В вечерней «Красной газете» середины 20-х годов затеряны его не очень остроумные, но злые анонимные эпиграммы на Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова<sup>21</sup>.



сился с явным несочувствием, с плохо скрываемым раздражением. Иногда мне казалось, что любой ранее неизвестный текст, любой вновь найденный документ о Пушкине представлялся ему в эту пору каким-то дасадным осложнением установившейся канвы фактов в «Трудах и днях», неожиданным вторжением в контролируемую им запретную зону. Консервативная самоуспокоенность стареющего антиквара, близорукая недооценка всего того, что ломало привычные представления и установившиеся нормы, неразрывно соседствовала в Н. О. Лернере и с ревностью, и с некоторого рода даже завистью к чужому успеху в областях, в которых он привык хозяйничать единолично.

Однажды, знакомя Н<иколая> О<сиповича> с новыми документальными данными о работе Пушкина над «Историей Пугачева» и «Капитанской дочкой», я был несколько смущен плохо скрытым нетерпением, с которым Н<иколай> О<сипович> ждал конца моего и без того краткого сообщения: «Все это, мой друг, конечно, для нас с вами очень интересно, но погоды не делает. А вот мне, может быть, придется [когда-нибудь] скоро всех вас и всерьез ошеломить некоторыми документиками, которые берегу на черный день. Вот, например, письмо Пушкина к царю о “Гавриилиаде”. Ведь оно давно у меня. Прямо из библиотеки Его Величества. Замечательнейший документ. Но печатать его не спешу. Может быть, и уничтожу. Не к чему обнажать “рану совести” Пушкина перед нашим одичавшим читателем»<sup>22</sup>.

Эта ноздревская бравада, особенно смешная потому, что сам рассказчик отлично должен был понимать, что его фантастическая информация воспринимается лишь как «мечтательная ложь», в его устах была не случайна. Как-то он сообщил мне, что ему удалось напасть на след недошедших до нас ответных писем к Пушкину его жены. Это сообщение не помешало ему же в моем присутствии несколько дней спустя рассказывать Д. П. Якубовичу, что все письма Натальи Николаевны давно якобы находятся в его портфеле и сейчас уже заканчиваются подготовкой к печати<sup>23</sup>.

Так, по-детски путая иногда желаемое с возможным, возможное с уже достигнутым, действительность с игрой своего ума, Н. О. Лернер этими примитивными средствами пытался (конечно, бессознательно) прикрыть свою ревность к чужим достижениям, сохранив в то же время известную дистанцию между собою, шефом пушкиноведения, и рядовыми исследователями. В этом плане исключительно остры бывали и некоторые автопризнания Н. О. Лернера, которыми он иногда сознательно ошарашивал своих собеседников, подогревая интерес к остывающим темам своих монологов. Так, например, Н<иколай> О<сипович> не раз начисто отрицал необходимость синтетической биографии Пушкина, доказывая даже этическую ее нецелесообразность. «Мы и так знаем о нем много — много больше, чем следует. Уж

подлинно “потомок негров безобразный” — безудержное распутство в юности, нечистый семейный быт, вся преддвузельная история — сплошная грязь. Пускай уж копошатся в ней господа Щеголевы, им и книги в руки. Нам нужна сейчас биография не Пушкина, а Лермонтова. Им ведь никто по-настоящему не занимался. А как поэт он не меньше Пушкина, как прозаик — много больше. В наше время он особенно нужен. Это ведь не “родов униженных обломков”, не воинствующий националист, не антисемит. У него вы не найдете строк об “омерзительном ложе жида”». В голосе Н<иколая> О<сиповича> зазвенели здесь уже грозные прокурорские ноты. Казалось, он сводил с Пушкиным какие-то давние личные счеты, хотел отомстить за все свои провалы и неудачи в области многолетнего его изучения. [Н. О. Лернер, видимо, хотел здесь дать мне понять, что сам он гораздо темпераментнее и острее всего того, что им написано.]

\*

Революции Н. О. Лернер никак не принимал, не принимал с такой едкостью и озлоблением, которое иногда казалось мне даже неправдоподобным, наигранным, как-то несвойственным петербургскому интеллигенту, либеральному литератору, выходцу из еврейской мелкобуржуазной среды.

Правда, эта «среда» была, видимо, не совсем нейтральна. Когда мне приходилось выслушивать маниакальные суждения Н. О. Лернера о том, например, что революционный марксизм в его время был идеологией лишь аптекарских помощников и зубных техников, полагавших, что только еврейское бесправие мешает быть им государственными людьми («А сейчас, посмотрите, они в ролях больше похожи на аптекарских учеников»), мне невольно припоминалась затерянная в одной из книжек «Былого» или «Минувших годов» чья-то злая характеристика О. М. Лернера, отца пушкиниста, «ученого еврея» при Одесском градоначальстве, близкого кругам секретной агентуры III Отделения и Департамента полиции<sup>24</sup>.

С несколько аффектированным цинизмом Н. О. Лернер как-то заметил мне, что история всегда была для него не предметом изучения, в смысле постижения каких-то закономерностей, а лишь объектом удовлетворения праздного любопытства: «Исследовательская работа, — заключил он, — отличается от игры в бирюльки только степенью своей занимательности. На одном интеллектуальном уровне удовлетворяют бирюльки, на другом — что-нибудь вроде пушкинизма». Смеясь, я процитировал ему из только что появившейся тогда «Репетиции» Горького иронический афоризм: «Истинное счастье человека в науке и труде», ибо «и та и другой мешают думать». Н<иколай> О<сипович> был в восхищении. Он только не хотел верить, что я вычитал эту

сентенцию у Горького: ни как писателя, ни как большого человека он его не чувствовал и не любил<sup>25</sup>.

\*

Он был чем-то до ужаса похож на В. В. Розанова, того В. В. Розанова, который показывал себя в «Уединенном» и в «Опавших листьях».

В нем не было ни гармонии души, ни тени величия, ни благообразия, ни «наряда». Это была на редкость запущенная, голодная, случайная, бесприютная и непокорная, непокорная даже в своей внешней приниженности и вынужденном лакействе душа! — И в то же время в нем было что-то «неуловимо пластическое», как писал Розанов.

\*

Претенциозная говорливость «испытанного остряка», целеустремленная красноречивость профессионального софиста сослужили Лернеру большую службу в тот момент, когда в 1932 г. решалась его участь в одном из корпусов ДПЗ<sup>23</sup>. — Арестованный, не помню уже, по какому поводу (своим суесловием он сам создавал эти поводы на ходу), Лернер был освобожден месяца через полтора-два без всяких дальнейших репрессий. Освобожден прежде всего потому, что с большим искусством сумел внушить своему следователю то впечатление, которое считал наиболее для себя выгодным. В свою пользу он ухитрился расположить даже капитана Федотова, который, специализируясь в течение нескольких лет на академических и литературных делах, вообще говоря, не отличался особым благодушием.

— Этот [говорливый] пещерный <?> пушкинист в свое время, видно, был неплохим юристом. Говорил он гораздо интереснее, чем писал, — полшутя резюмировал свои впечатления от Лернера этот мастер, когда мне пришлось стать его невольным собеседником в одну из безнадежных декабрьских ночей 1936 г. на углу Литейного и Шпалерной. — Подумайте только, он по целым часам не давал мне и рта раскрыть. Слушаю его, слушаю, так без допроса под утро и отпущу. Так и в лагерь его не послал. Не сглазил он меня, а заговорил. И умер ваш Лернер *вовремя*. Сейчас бы отсюда он уже не ушел.

Я не стал с капитаном спорить. Он, вероятно, был прав.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Публикации Лернера на пушкинские темы (в том числе и упоминаемые в очерке Оксмана работы) достаточно полно (не считая анонимных и псевдонимных газетных рецензий и реплик) учтены в четырех томах пушкинской библиографии: П. Н. Беркова и В. М. Лаврова (1949), А. Г. Фомина (1929, 1937) и двухчастной библиографии за 1918–1936 (1952, 1973).

<sup>1</sup> Носителем подобной традиции был, в частности, знакомый Лернера и Оксмана, историк Одессы и пушкинист А. М. де Рибас; об одесском Пушкинском обществе любителей русской словесности см. в статье Оксмана в «Известиях Одесского губисполкома» (1923, 15 июля; в лит.-худож. прилож. к номеру — заметки А. де Рибаса «Пушкинская Одесса»).

<sup>2</sup> Государственные экзамены в Одесской юридической комиссии Лернер сдал в июне 1901 г. и с июля по декабрь служил в Тифлисе, «кем-то вроде помощника секретаря судебной палаты», безуспешно ожидая обещанного жалования и повышения. С января 1902 г. «оставил службу» и «записался в Кишиневе помощником присяжного поверенного» (из писем В. Я. Брюсову — РГБ, ф. 386, к. 92, № 12–13), где и занимался (очень скудной) адвокатской практикой; в 1903 г. несколько месяцев служил в Одессе в канцелярии градоначальства, в 1904–1905 гг. — вновь в Кишиневе и Одессе, совмещая адвокатуру с газетной работой; с января 1906 г. поселился в Петербурге. Неоднократно возникавшие у Лернера планы сдать университетские экзамены по историко-филологическому факультету (в Новороссийском, Казанском, позже в Харьковском университете) и получить соответствующий диплом и магистерскую степень не осуществились.

<sup>3</sup> В 1899 г. Лернер преимущественно публиковался в «Новороссийском телеграфе» и «Одесских новостях»; см. в библиографии П. Н. Беркова и В. М. Лаврова (1949).

<sup>4</sup> См. также публикацию записки Пушкина к В. И. Григоровичу в альманахе символистов «Северные цветы на 1902 год» (М., 1902. С. 177–178).

<sup>5</sup> Там же. 1899. № 11. С. 451; № 12. С. 612 — о стихотворении «Земля и море».

<sup>6</sup> Ср. конспективную заметку Оксмана 1950-х (?) гг.: «Для первых редакторов и исследователей Пушкина вопросы хронологии не существовали. <...> Экскурс: Лернер не прочел и не проанализировал палеографически ни одной рукописи Пушкина. Наглядная демонстрация его дилетантизма. Журналист (желтый) и любитель, а не исследователь. Самоуверенный и самодовольный дилетант» (Оксман Ю. Г., Пугачев В. В. Пушкин, декабристы и Чаадаев. Саратов, 1999. С. 235–236).

<sup>7</sup> Соображения Оксмана о принципах построения и отбора материала для персональной «Летописи жизни и творчества» прямо связаны с его опытом работы над «Летописью» Белинского (первый вариант: сост. Н. Ф. Бельчиков, П. Е. Будков, Оксман, под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1924; многократно расширенный и переработанный монографический вариант Оксмана: М., 1958). Широкое введение общих социально-политических и историко-культурных фактов в пушкинскую летопись было осуществлено в труде М. А. Цявловского (М., 1951); в доработанном переиздании (Л., 1991) этот тематический пласт летописи уже подвергся сокращению.

<sup>8</sup> Кроме этих статей Лернеру принадлежит в издании и очерк о Я. П. Полонском (М., 1909. Т. 3. С. 491–497); он писал для «Истории» и

главу о Л. Н. Толстом, но после полугодовой задержки ее представления в редакцию этот заказ был аннулирован; из ряда намеченных Лернером авторов редакция не приняла и предложение написать статью о К. Леонтьеве, творчество и оригинальную историософию которого Лернер очень высоко ценил.

<sup>9</sup> Ср. сходные рассуждения Лернера в письме Н. С. Ашукину от 29 мая 1933 г. в связи с предполагаемым изданием в Москве книги его статей в продолжение «Рассказов о Пушкине» (1929): «Это сборник, не претендующий на монографическую, установленную сосредоточенность, но интересных частных в нем будет много. Публика, я знаю, такие вещи любит. <...> Я мог бы снабдить список некоторым “expose”, но нужно ли это? <...> *Сам Пушкин* — вот достаточное оправдание пестроты моих тем» (РГАЛИ, ф. 1890, оп. 3, № 314).

<sup>10</sup> Неосуществленность работ «большой формы» стала для Лернера мучительной проблемой. Неоднократно он предпринимал попытки написать монографию «Жизнь и творчество Пушкина» (вариант: только «жизнь», или «биография», или просто «Пушкин») и даже заключал соответствующие издательские соглашения, начиная с 1910 г. — с издательством «Мир», до 1929 г. — с ленинградским отделением ГИЗа, но вплотную приступить к этой работе так и не смог, оставаясь в планах своей «главной книги», по выражению Гершензона, только «мифотворцем». Причиной тому была и всегдашняя литературная поденщина, чем, например, он оправдывался перед Гершензоном в июне 1909 г.: «Загляните в III т. венгеровского “Пушкина”, посмотрите, сколько там моего, вспомните, что я лишь в декабре закончил статью о прозе Пушкина, затем писал о Чаадаеве, Ап. Григорьеве, Полонском, Лескове, написал обширные примечания к стихам Пушкина 1826 г. (для Венгерова), “Пушкин в Москве после ссылки” (для него же), биографическую статью о Пушкине в 1 ½ листа (для него ж, IV том, т. е. 2 ½ журнальных), писал для “Рус<ского> биографического словаря”, строчил пушкинские заметки и рецензии для “Рус<ской> старины”, рецензии для “Исторического вестника”, набрал на два печатных листа дополнений к “Трудам и дням Пушкина”, еще кое-что писал, чего и сам не помню, вел мелкие судебные делишки...» (РГБ, ф. 746, к. 36, № 27). В таком ритме мечта хотя бы год спокойно «заниматься большой, цельной и хорошей работой» (Там же) постоянно оставалась несбыточной. Но чувствовал Лернер и объективные причины, стоявшие на пути реализации подобного труда, — свою внутреннюю психологическую и в известном смысле творческую к нему неготовность. Ср. его признание в марте 1910 г. в письме к тому же Гершензону (в связи с выходом его книги о В. Печерине): «Я Вам диавольски завидую. Авось и мне когда-нибудь удастся, когда накопится в душе *свое* (а я чувствую, что оно копится), тоже спеть полным голосом, от избытка души, свою песню, хоть слабую, неоригинальную, но *для меня свою*» (РГБ, ф. 746, к. 36, № 28). Лернеру не пришлось осуществить и крупного самостоятельного издания Пушкина, где он мог бы показать себя как редактор и текстолог: запланированное в 1910 г. «малое» собрание

сочинений «в 8—9 томах» в «Академической библиотеке русских писателей», которое предполагалось поручить Лернеру и Брюсову, не состоялось. Свою «насильственную» отлученность от Полного собрания сочинений, которое готовила с 1899 г. Академия наук, Лернер остро переживал (видя в этом проявление антисемитизма в академических кругах), и этот сюжет стал причиной его многолетней психической травмы. Как его повторение Лернер склонен был рассматривать историю с «советским шеститомником», о чем далее рассказывает Оксман.

<sup>11</sup> В т. 1 (1907) помещены статьи Лернера «Пушкин в Лицее», «Литературные замыслы Пушкина 1813—1815 гг.», «А. Д. Илличевский» и примечания к текстам ряда стихотворений. В т. 2 (1908) — совместная с Ю. И. Айхенвальдом статья о «Бахчисарайском фонтане», статья «Пушкин в Одессе», обзоры «Недошедшие и приписываемые Пушкину стихи 1817—1819 гг.» и «Черновые наброски 1818—1819 гг.», примечания к текстам стихотворений 1821, 1823 гг. и к значительной части 1822 г. (примеч. к стихотворениям 1820 г. — П. О. Морозова). В т. 3 (1909) — статья «Пушкин в Москве, после ссылки», примечания к текстам стихотворений 1824 г. и начала 1826 г. (1825 г. — П. О. Морозова; следует отметить, что примечания Лернера примерно вдвое более развернутые, чем у Морозова, и занимают 50 страниц). В т. 4 (1910) — статья «Дон-Жуанский список» и примечания к текстам стихотворений 1826—1828 гг. (71 страница особой пагинации). В т. 5 (1911) — примечания к текстам стихотворений 1828—1829 гг. (49 страниц особой пагинации; к стихотворениям 1830 г. — П. О. Морозова). В т. 6 (1915) Лернеру принадлежат все заключительные примечания к текстам стихотворений (1831—1836 гг., 95 страниц), подборка «Дополнения к письмам Пушкина» (25 писем и записок, не вошедших в основной корпус, помещенный в т. 5—6; примечания к основному разделу составлены П. О. Морозовым), заметка «Пушкин у Брюллова» и обширные дополнения ко всему собранию — «Новые приобретения пушкинского текста и дополнения» (почти 50 номеров стихотворных текстов, заметок, дневниковых записей и проч., 72 страницы). Всего публикации Лернера в этом томе занимают около 180 страниц (11 печатных листов двухколонника большого формата), или более четверти его объема. Письма Пушкина и собранные Лернером «новые приобретения» его текста занимают в томе примерно такое же место. Как известно, комментарии к прозаическим текстам (кроме писем) и большим стихотворным формам в венгеровском собрании вообще отсутствуют.

<sup>12</sup> В качестве примеров обозначены резкие рецензии Лернера на работы относительно близких Оксману людей — одного из учителей (Н. К. Пиксанова), ученика, а затем верного доброжелателя (И. С. Зильберштейна), и на книгу Н. А. Синявского и М. А. Цявловского (об этой рецензии и о ее восприятии см.: Цявловские. С. 36, 210—211). Свою реакцию по поводу рецензии Лернера на издание «Жандровского списка» «Горя от ума» (М., 1912; рец. появилась в № 4 «Исторического вестника» за 1913 г.) и общее настроение на этот счет Пиксанов обобщил в письме к П. Н. Сакулину от 27 апреля 1913 г.:

«Этот человек травит меня систематически — в газетах и журналах, за полной подписью, под инициалами и анонимно. Что бы и как бы я ни написал, я могу быть уверен, что получу от него плевков из-за угла. Подчас мне становится противна всякая литературная работа и это вечное ожидание гадости. Конечно, теоретически я могу себя утешать сколько угодно, что по пословице — собака лает, ветер относит, что не я один обруган Лернером и т.д. Но психологически от этого не легче.

Последние выходки Лернера настолько возмутительны (впрочем, и прежде было не лучше, напр. в эпизоде со Щеголевым), что П. Е. Щеголев предложил мне составить коллективный протест против него и, собрав под ним подписи (конечно, их нашлось бы немало), послать в “Голос минувшего”, как передовой исторический журнал с определенной общественной физиономией, указав там, что подписавшимся противно видеть свои имена в одном списке с Лернером» (РГАЛИ, ф. 444, оп. 1, № 671).

Брошюра И. С. Зильберштейна «Из бумаг Пушкина (Новые материалы)» (М., 1926) стала одним из объектов обзорной статьи Лернера «Халтура со взломом» (Лит.-художеств. сб. «Красной панорамы». 1929. Июнь), посвященной вопросу о научном плагиате (ср. оценки этой брошюры: Цявловские. С. 239–240).

Случаи обид на рецензии Лернера со стороны писателей и ученых исчисляются, вероятно, сотнями. Со слов О. Э. Мандельштама известно, как расстроила его маму рецензия Лернера на 2-е издание «Камня» (1916).

<sup>13</sup> Оксман не совсем прав: Лернер рецензировал многие работы всех указанных авторов, и порой весьма критически. Иногда ему просто не удавалось обстоятельно высказаться в печати, хотя при этом он критиковал оппонентов в частной переписке (например, в связи с известным спором об «утаенной любви» Пушкина). Кроме собственно рецензий на научные труды, Лернер порой прибегал и к жанру газетного памфлета (часто анонимно), где сводил с коллегами счеты, возникшие в результате личных обид. Такова серия его выступлений против академической Пушкинской комиссии в связи с целесообразностью государственных или общественных расходов на покупку собрания А. Ф. Онегина, строительство здания Пушкинского Дома и т. д.

<sup>14</sup> В сходном ключе вопроса о спорных/неверных атрибуциях Лернера касался в статье «Мнимый Пушкин» (1922, опубл. 1977) и Ю. Н. Тынянов (см. в его кн.: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, здесь же и коммент., с. 425 и след.). В связи с «доказанным» авторством О. М. Сомова Оксман имеет в виду осуществленную им публикацию письма Сомова Пушкину от 31 августа 1831 г. (из собрания П. Е. Щеголева), в котором Сомов сообщал, что у него «уже запасена» для «Северных цветов» неизданная повесть Батюшкова; в комментарии к письму Оксман и привел повторенное в очерке опровержение атрибуции Лернера (ЛН. М., 1934. Т. 16/18. С. 588, 593). Следует заметить, что, строго говоря, письмо Сомова ничего «документально» не «устанавливает»; в своем комментарии к нему Оксман

прибегает к тому же типу аргументации, что и Лернер: «...резко не соответствуя прозаическому стилю Пушкина 1830-х годов <...>, предисловие <...> и тематически, и стилистически очень характерно для информационно-критических заметок О. М. Сомова...». Вопрос этот продолжал (и продолжает) дебатироваться, но предпочтение отдается кандидатуре Сомова (ср. и мнение лучшего специалиста по истории «Северных цветов»: *Вацу-ро В. Э.* «Северные цветы»: История альманаха Дельвига—Пушкина. М., 1978. С. 274). На авторство Кюхельбекера применительно к стихам, взятым Пушкиным в качестве эпиграфа, Оксману указал в свое время Тынянов (см.: *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. С. 427).

<sup>15</sup> Лернер в различных работах склонен был дополнительно атрибутировать Пушкину более 10 рецензий и заметок из «Литературной газеты» (он превратил эти «атрибуции», по словам одного из критиков, в своеобразный «спорт»). Из писем Лернера видно, что сам он не ко всем своим атрибуциям относился принципиально и не был убежден в своей полной правоте, отчасти им двигали азарт и прозаическая нужда в гонораре за газетную или журнальную публикацию. Ряд его оценок авторства был принят в пушкинистике, ряд отклонен. См. историю вопроса в коммент. Е. А. Тоддеса к указ. выше (примеч. 14) статье Тынянова. Оксман в своем очерке очевидным образом разделяет основной научный пафос тыняновской статьи. Наиболее известная попытка комплексной атрибуции анонимных статей «Литературной газеты» 1830 г. — серия специальных работ В. В. Виноградова, начиная со статьи во «Временнике Пушкинской комиссии» (1939. Т. 4/5), в которых проанализированы и решения, предложенные Лернером.

<sup>16</sup> Оксман неточен — со ссылкой на статью А. Слонимского в «Книжном угле» история мистификации была пересказана в ряде газет (см., например: *Новая жизнь*. 1918. № 126 (341), 17/30 июня. С. 4). Следует отметить, что Б. В. Томашевский, когда писал о ней, не называл имени Лернера (ранее заметки в «Литературном наследстве» 1934 г. Томашевский остановился на «окончании» «Юдифи» в кн.: *Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина*. Пб., 1922. С. 131), совсем иначе действовали редакторы «Литературного наследства» (см. вступит. заметку).

<sup>17</sup> Ср. один из конспективных набросков Оксмана к его очерку:

«Штурм позиций, захваченных Лернером. Репутация пушкинизма как «цитадели научной реакции», по форм<улировке> Сергиевского.

Первые показатели — в общественном мнении, а не в печати. Ироническое отношение. Брюсов в одном из своих обзоров (*Биржевые ведомости*. 1916. 21 окт.; вошло в его кн. «Мой Пушкин» (1929). — С. Л.) протестовал против легкомысленного засорения прозы Пушкина сомнительными «открытиями». Яростная атака <М. Л.> Гофмана. Весь пафос «Первой главы науки о Пушкине» — назад к первоисточнику, к автографу — естественная реакция против биографизма и бытовизма лернеров пушкиноведения. — Работы формалистов. Тяга к воскрешению жанров, убитых Лернером, — проблемы идеологии, «рассуждения» и «речи».



В практической жизни это был слабый, наивный, часто беспомощный человек — способности жить, как “люди живут”, у него не было. Одни прожигали жизнь, растрачивая ее на женщин, карты, обжорство, другие — жили интересами своих учреждений, партий, общественных организаций, увлекаясь служебной или партийной карьерой. Третьи жили интересами политической борьбы. — У него не было ни одного, ни другого, ни третьего».

<sup>18</sup> По поводу «этюда о великом князе Николае Константиновиче» Оксман, вероятно, ошибается: книжку в «восемь печ<sup>а</sup>тных листов» «Роман великого князя» Лернер, похоже, написал: 5 ноября 1928 г. он сообщал Л. П. Гроссману, что она была уже набрана в издательстве «Прибой», влившемся потом в Ленгиз, где от книги отказались, — и просил Гроссмана помочь пристроить ее в Москве. Совершенно точно закончил Лернер книгу о Ваньке Каине (8 печатных листов — исследование и 3 печатных листа — публикация текста его «Жизни»), скитавшуюся по разным издательствам и в конце концов «до лучших времен» «осевшую» у В. Д. Бонч-Бруевича (их переписку см. в РГБ). К этому списку следует добавить подготовленные Лернером в 1930 г. для издательства «Academia» «Записки человека» А. Д. Галахова (см. материалы Лернера в новом издании мемуаров Галахова: *Галахов А. Д. Записки человека*. М.: НЛО, 1999), воспоминания М. Ф. Толстой-Каменской (см. в новом изд.: *Каменская М. Ф. Воспоминания*. М.: Худож. лит., 1991; корректура 1930 г.: РНБ, ф. 430, № 52), составленный для издательства «Мир» в 1932—1933 гг. комментарий к «Герою нашего времени». Осталась незаконченной работа «Жена Пушкина», очень увлекавшая Лернера; не ясно, что было сделано им для книги «Литературный плагиат» (в 1933 г. «Academia» расторгла договор в связи с непредоставлением рукописи; переписку см. в РНБ и РГАЛИ; в том же году издательство Общества политкаторжан расторгло договор на книгу «Из истории русского угнетения»). Не мог Лернер найти в себе силы для работы над «Жизнью Пушкина», на которую с 1928 г. тоже заключал договора, но интереса особого к этой работе явно не питал. Сложнее обстояло дело с основным проектом последних лет его жизни — новым изданием «Трудов и дней Пушкина»: как кажется, Лернер при желании мог бы подготовить рукопись дополненного варианта (см. о нем, в частности, в публикации М. И. Гиллельсона «Из материалов к III изданию книги Н. О. Лернера “Труды и дни Пушкина”» — ПИМ. М.; Л., 1962. Т. 4), но, по всей видимости, сам не был им доволен и не мог сдать свою главную работу (с которой он, по существу, самоидентифицировался) в таком виде (здесь Оксман предлагает абсолютно точный анализ ситуации). Попытки семьи издать доработанные «Труды и дни» после смерти Лернера не увенчались успехом ни в 1930-е гг. (см.: Цявловские. С. 213), ни позднее. Так, 26 июня 1946 г. Пушкинская комиссия ИРЛИ по выступлению на эту тему Б. М. Эйхенбаума постановила: «От издания рукописи отказаться, т. к. подобная работа более подробно и тщательно проделана в Москве. Предложить вдове Н. О. Лернера продать рукопись в архив Института литературы АН СССР» (РГАЛИ, ф. 1525, оп. 1, № 829, л. 10).

<sup>19</sup> Речь идет о «краснониевском» шеститомнике Пушкина (1930–1931; 5 раз переиздавался в ГИХЛе). Первое совещание о коллективной подготовке собрания сочинений состоялось в Москве в марте 1928 г. Руководителем работ должен был быть П. Н. Сакулин (позднее его заменил П. Е. Щеголев; оба они вместе с Д. Бедным, А. В. Луначарским и В. И. Соловьевым значились «титულными» редакторами всего собрания), который 24 марта направил Лернеру вежливое письмо («Само собою разумеется, Ваше имя у всех было на устах. Без Лернера нельзя издавать Пушкина. Без Лернера вообще не обойдешься, когда речь заходит о Пушкине» — РГАЛИ, ф. 300, оп. 1, № 303) с предложением выбрать желательные ему для редактирования прозаические тексты Пушкина. Об участии Лернера в подготовке собрания Оксман, в частности, сообщал Цявловскому: 3 октября 1929 г.: «Распределение материала у нас как будто закончено. <...> Скандалит один Лернер, считая, что ему дали мало (автобиографический том + записи народных песен). Пожалуй, он прав и следует ему уступить что-нибудь из драматического тома. Грозит он выпуском двух томов своих статей (первый уже в наборе) и двумя томами “Трудов и дней”. Вид у него бодрый, может, и в самом деле напечатает в будущем году “Труды”...»; 24 февраля 1931 г.: «...беда с Лернером. Послал я ему гранки его текстов для правки, сегодня ожидал их возвращения, но вместо этого он по телефону заявил мне, что его рукопись была перед сдачей в набор “испорчена” (очевидно, он понимает машинистку и П. Е. Щеголева), который дописал незаконченные слова и нивелировал орфографию (в текстах Пушкина), что он снимает с себя ответственность, отказывается вновь выправлять, требует снятия его имени, апеллирует к печати и т. д. и т. п. Я пробовал его урезонить, но он явно ищет поводов для скандала, а потому пришлось просто повесить трубку. Что же, однако, делать? Кому поручить сверку его текстов и на каких условиях? Я считаю, что иметь с ним дело совершенно невозможно, он сумасшедший озлобленный человек, а потому, чем скорее мы от него избавимся, тем лучше» (РГАЛИ, ф. 2558, оп. 1, № 133).

<sup>20</sup> С 1914 г. Лернер жил по адресу: Лахтинская, 30, кв. 17, с женой, Минной Михайловной, и дочерью Ариадной (род. 30 июля 1911 г.).

<sup>21</sup> К сожалению, пока не удалось выявить эти эпиграммы. Известны многочисленные «домашние» стихи Лернера, связанные с издательским и научным бытом (они есть, в частности, и в «Чукоккале» К. Чуковского), среди них — и эпиграммы на писателей и литературоведов. В 1903 г. в Одессе он выпустил стихотворный фельетон «Максим Горький и все “нынешние”. Сон скромного читателя». В юности и в 1900-е гг. Лернер сочинял и вполне заурядные, «старомодные» для того времени стихотворные произведения, которые печатал в кишиневских и одесских газетах и неоднократно, но безуспешно предлагал Брюсову для публикаций в символистских изданиях. В 1920-е гг. он немного переводил из французских поэтов XVIII — начала XIX в.

<sup>22</sup> Об этой истории с письмом Пушкина см. наш комментарий в кн.: Цявловские. С. 269–272.

<sup>23</sup> Вероятно, здесь некоторое смещение контекста: Лернер мог подразумевать неизданные письма Н. Н. Пушкиной-Ланской к другим адресатам, собранные им в ходе работы над книгой «Жена поэта». Конспекты этих материалов отчасти сохранились в его фонде в РНБ.

<sup>24</sup> См. вступительную статью к настоящей публикации, примеч. 22.

<sup>25</sup> Как бы прямо отвечает Оксману Лернер в письмах лета 1928 г. к Л. П. Гроссману: «Читаю иногда “Известия”. Очень полезная газета. Еще лучше “Красной”. Интересны “Труды и дни Горького”. А propos de bottes:

Слышу немолкнувший звук беззастенчивой *Игрека* речи,  
Старца Булгарина тень чую смущенной душой».

«Читаю иногда о турнэ М. Горького <по СССР>. Он доволен, всем доволен. Видел татарок без покрывала, да еще в пивной, и тоже остался доволен. Каждая эпоха имеет своего Булгарина, самая презренная — самого презренного» (РГАЛИ, ф. 1386, оп. 1, № 98). Личное общение Лернера с Горьким относится к периоду работы издательства «Всемирная литература»; отзыв Горького о Лернере передает К. Федин в книге «Горький среди нас» (М., 1953. С. 65).

<sup>26</sup> Оксман ошибся: Лернер был арестован весной (в апреле?) 1931 г. (см.: Цявловские. С. 93), в середине мая освобожден. 31 мая Оксман сообщал Цявловскому, что «вообще он очень полевел, посмирнел и пр.» (РГАЛИ, ф. 2558, оп. 1, № 133).